

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

БК

Томас Манн

ИОСИФ
И ЕГО
БРАТЬЯ

Том 1

«АЗБУКА»

Иностранная литература. Большие книги

Томас Манн

Иосиф и его братья. Том 1

«Азбука»

1943

УДК 812.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

Манн Т.

Иосиф и его братья. Том 1 / Т. Манн — «Азбука»,
1943 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-34687-1

Томас Манн (1875–1955) – выдающийся немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии (1929), автор романов «Волшебная гора», «Будденброки», «Доктор Фаустус», без которых немыслима мировая литература XX века. Свой главный труд «Иосиф и его братья» Томас Манн создавал на протяжении шестнадцати лет. В 1933 году писатель был вынужден бежать из фашистской Германии, бросив рукопись на произвол судьбы. Однако само Провидение, казалось, помогло автору закончить свою работу. Под пером немецкого гения ветхозаветный сюжет о жизни Иосифа Прекрасного превращается в захватывающий исторический роман, пронизанный высокими гуманистическими идеалами. В первый том вошли пролог, романы «Былое Иакова», «Юный Иосиф» и первая половина романа «Иосиф в Египте».

УДК 812.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-389-34687-1

© Манн Т., 1943
© Азбука, 1943

Содержание

Пролог	7
Былое Иакова	28
Раздел первый	28
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Томас Манн

Иосиф и его братья. Том 1

Thomas Mann
JOSEPH UND SEINE BRÜDER

© С. К. Апт (наследник), перевод, 2026
© Издание на русском языке, оформление

* * *

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Томас Манн

ИОСИФ
И ЕГО БРАТЯ

ТОМ I



АЗБУКА

Санкт-Петербург

Пролог

Сошествие в ад

1

Прошлое – это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать его просто бездонным?

Так будет вернее даже в том случае и, может быть, как раз в том случае, если речь идет о прошлом всего только человека, о том загадочном бытии, в которое входит и наша собственная, полная естественных радостей и сверхъестественных горестей жизнь, о бытии, тайна которого, являясь, что вполне понятно, альфой и омегой всех наших речей и вопросов, делает нашу речь такой пылкой и сбивчивой, а наши вопросы такими настойчивыми. Ведь чем глубже тут копнешь, чем дальше проберешься, чем ниже спустишься в преисподнюю прошлого, тем больше убеждаешься, что первоосновы рода человеческого, его истории, его цивилизации совершенно недостижимы, что они снова и снова уходят от нашего лота в бездонную даль, в какие бы головокружительные глубины времени мы ни погружали его. Да, именно «снова и снова»; ибо то, что не поддается исследованию, словно бы подтрунивает над нашей исследовательской неумностью, приманивая нас к мнимым рубежам и вехам, за которыми, как только до них доберешься, сразу же открываются новые дали прошлого. Вот так же порой не можешь остановиться, шагая по берегу моря, потому что за каждой песчаной косой, к которой ты держал путь, тебя влекут к себе новые далекие мысы.

Поэтому практически начало истории той или иной людской совокупности, народности или семьи единоверцев определяется условной отправной точкой, и хотя нам отлично известно, что глубины колодца так не измерить, наши воспоминания останавливаются на подобном первоисточке, довольствуясь какими-то определенными, национальными и личными, историческими пределами.

Юный Иосиф, к примеру, сын Иакова и миловидной, так рано ушедшей на Запад Рахили, Иосиф, что жил в ту пору, когда на вавилонском престоле сидел весьма любезный сердцу Бел-Мардука коссеянин Куригальзу, властелин четырех стран, царь Шумера и Аккада, правитель строгий и блестящий, носивший бороду, завитки которой были так искусно уложены, что походили на умело выстроенный отряд щитоносцев; а в Фивах, в преисподней, которую Иосиф привык называть «Мицраим» или еще «Кеме, Черная», на горизонте своего дворца, к восторгу ослепленных сынов пустыни, сиял его святейшее добрый бог, третий носитель имени «Амун-доволен», телесный сын Солнца; когда благодаря могуществу своих богов возрастал Ассур, а по большой приморской дороге, что вела от Газы к перевалам Кедровых гор, между двором фараона и дворами Двуречья, то и дело ходили царские караваны с дарами вежливости – лазуритом и чеканным золотом; когда в городах амурреев, в Бет-Шане, Аялоне, Та'Анеке, Урусалиме служили Аштарт, когда в Сихеме и в Бет-Лахаме звучал семидневный плач о растерзанном Истинном Сыне, а в Гебале, городе Книги, молились Элу, не нуждавшемуся ни в храме, ни в обрядах; итак, Иосиф, что жил в округе Кенана, в земле, которая по-египетски называлась Верхнее Ретену, неподалеку от Хеврона, в отцовском стойбище, осененном терebinтами и вечнозелеными скальными дубами, этот общеизвестно приятный юноша, унаследовавший, к слову сказать, приятность от матери, ибо та была прекрасна, как луна, когда она достигает полноты, и как звезда Иштар, когда она тихо плывет по ясному небу, но, кроме того, получивший от отца недюжинные умственные способности, благодаря которым он даже превзошел в известном смысле отца, – Иосиф, стало быть, в пятый и шестой раз называем мы это

имя, и называем его с удовольствием: в имени есть что-то таинственное, и нам кажется, что, владея именем, мы приобретаем заклинательскую власть над самим этим мальчиком, канувшим ныне в глубины времени, но когда-то таким словоохотливым и живым, – так вот, для Иосифа, например, все на свете, то есть все, что касалось лично его, началось в южновавилонском городе Уре, который он на своем языке называл «Ур Кашдим», что значит «Ур Халдейский».

Оттуда в далеком прошлом – Иосиф не всегда мог толком сказать, как давно это было, – отправился в путь один пытливый и беспокойный искатель; взяв с собой жену, которую он из нежности, по-видимому, любил называть сестрою, а также других домочадцев, этот человек, по примеру божества Ура, Луны, пустился в странствия, поскольку такое решение показалось ему самым верным, наиболее сообразным с его неблагоприятным, тревожным и, пожалуй, даже мучительным положением. Его уход, явившийся, несомненно, знаком недовольства и несогласия, был связан с некими строениями, запавшими ему в душу каким-то обидным образом, которые были если не воздвигнуты, то, во всяком случае, обновлены и непомерно возвышены тогдашним царем и Нимродом тех мест, радевшим, как втайне был убежден прашур из Ура, не столько о вящей славе божественных светил, которым эти постройки были посвящены, сколько о том, чтобы воспрепятствовать рассеянию своих подданных и вознести к небесам знаки своей двойной – Нимрода и властелина земного – власти, власти, из-под которой предок из Ура как раз и ушел, ибо рассеялся, пустившись вместе со своими близкими куда глаза глядят. Предания, дошедшие до Иосифа, не вполне сходились в вопросе о том, что именно вызвало гнев недовольного странника: громадный ли храм бога Сина, имя которого, звучавшее в названии страны Синеар, слышалось также в более привычных словах, например в наименовании горы Синай; или, может быть, само капище Солнца, Эсагила, огромный Мардуков храм в Вавилоне, достигавший, по воле Нимрода, неба своей вершиной и хорошо известный Иосифу по устным описаниям. Этому искателю претило, конечно, и многое другое, начиная от нимродовского могущества вообще и кончая отдельными обычаями, которые другим представлялись священными и незыблемыми, а его душу все больше и больше наполняли сомнениями; а так как с душою, полной сомнений, не сидится на месте, то он и тронулся в путь.

Он прибыл в Харран, город Луны на Севере, город Дороги в земле Нахараин, где провел много лет и собирал души тех, кто вступал в близкое родство с его приверженцами. Однако родство это почти ничего, кроме беспокойства, не приносило, – беспокойства души, которое, хоть и выражалось в непоседливости тела, все-таки не имело ничего общего с обычным скитальческим легкомыслием и бродяжнической подвижностью, а было, скорее, изнурительной неугомонностью избранника, в чьей крови только-только завязывались дальнейшие судьбы, между подавляющей значительностью которых и снедавшей его тревогой существовало, должно быть, какое-то точное и таинственное соответствие. Поэтому-то Харран, куда еще простиралась власть Нимрода, и в самом деле оказался всего только «городом Дороги», то есть местом промежуточной остановки, с которого этот подражатель Луны вскоре опять снялся, взяв с собой Сару, свою сестру во браке, и всех своих родных, и их и свое имущество, чтобы в качестве их вождя и махди продолжать свою хиджру к неведомой цели.

Так он пришел на Запад, к амурреям, что населяли Кенану, где тогда правили сыны Хатти, пересек эту землю в несколько переходов и продвинулся далеко на юг, под другое Солнце, в Страну Ила, где вода бежит вспять, не так, как воды рек Нахарины, и где по течению плывешь на север; где косный от старости народ поклонялся своим мертвецам и где беспокойному урскому страннику нечего было искать или добиваться. Он вернулся на Запад, то есть в край, лежащий между Страной Ила и Нимродовым царством, и, поладив с тамошними жителями, обрел относительную оседлость на юге этого края, неподалеку от пустыни, в гористой местности, бедной пашнями, но зато богатой пастбищами для его коз и овец.

Предание утверждает, будто его бог, бог, над чьим образом трудился его дух, высочайший среди богов, на безраздельное служение которому подвигали его любовь и гордость, бог вечности, которому он никак не находил достойного имени, а потому соотнес с ним множественное число и называл его на пробу Элохим, то есть божество, – предание утверждает, будто Элохим дал ему некие далеко идущие, но вместе с тем и вполне определенные обещания, в том смысле, что он, странник из Ура, должен был стать народом, многочисленным, как песок и звезды, и благословением всем народам, а земля, где покамест он жил чужестранцем и куда привел его из Халдеи Элохим, должна была целиком и навеки перейти в его и его потомков владение, причем бог богов поименно перечислил нынешних владельцев этой земли, народы, «врата» которых должны были принадлежать потомкам человека из Ура, то есть которым бог, заботясь об урском страннике и его семени, назначил рабство самым недвусмысленным образом. Эти сведения нужно принять с осторожностью или, во всяком случае, правильно понять. Перед нами позднейшие нарочитые вставки, и задача их – узаконить политические отношения, сложившиеся только благодаря войне, ссылкой на давнишний замысел бога. В действительности нрав этого лунного странника был совсем не таков, чтобы от кого-либо получать или у кого-либо вымогать политические обещания. Нет никаких доказательств, что, покидая родину, он уже заранее облюбовал для себя страну амурреев; а то, что он в виде опыта посетил также страну могил и курносой девы-львицы, говорит, скорее, как раз о противном. И если сперва он покинул могучее государство Нимрода, а потом поспешил уйти из многославного царства двухвенцового владыки оазисов и вернулся оттуда на Запад, то есть в страну, обреченную из-за своей раздробленной государственности на политическое убожество, то это отнюдь не свидетельствует о его пристрастии к имперскому величию и о его склонности к политическим прозрениям. Силой, заставившей его сняться с места, была тревога духовная, забота о боге, и если он сподоблялся каких-то обетований, в чем сомневаться непозволительно, то относились они к распространению того нового и особого восприятия бога, которому он с самого начала и старался приобрести сторонников и радетелей. Он страдал и, сопоставляя меру своего внутреннего беспокойства с мерой его у огромного большинства людей, заключал, что его страдания служат будущему. Не напрасна, говорил ему новооткрытый бог, твоя мука, твоя тревога. Она оплодотворит множество душ, родит себе стольких приверженцев, сколько песка на дне морском, и повлечет за собой великое множество событий, зародыш которых в ней заключен, – одним словом, ты будешь благословением. Благословением? Вряд ли это слово верно передает смысл того, что предстало ему в видении и что соответствовало его душевному складу, его ощущению самого себя. В слове «благословение» есть та оценка, которая не подходит для деятельности таких натур, как он, людей внутренне беспокойных и непоседливых, чьи новые представления о боге призваны определить будущее. Жизнь тех, с кого начинается та или иная история, очень и очень редко бывает чистым и несомненным «благословением», и совсем не это нашептывает им их самолюбие. «И будешь *судьбою*» – вот более четкий и более верный перевод слова обета, на каком бы языке оно ни было сказано; а уж означает ли эта судьба благословение или нет, это вопрос другой, вопрос, второстепенность которого явствует из того, что на него всегда и без всяких исключений можно ответить по-разному, хотя на него отвечали, конечно, утвердительно члены той возраставшей физически и духовно семьи, которая признавала бога, выведшего из Халдеи урского странника, истинным Баалом и Адду круговорота, семьи, образование которой Иосиф считал началом своей собственной, духовной и физической жизни.

2

Иногда он даже считал лунного странника своим прадедом, что, однако, решительно выходит за пределы возможного. Да он и сам отлично знал из всяческих наставлений, что все

это дела более давние. Не такие, однако, давние, чтобы тот владыка земной, чьи пограничные, со знаками зодиака столпы оставил позади себя странник из Ура, был и в самом деле Нимродом, первым царем на земле, породившим синеарского Бела. Судя по таблицам, это был законодатель Хаммурагаш, обновивший упомянутые города Луны и Солнца, и если юный Иосиф отождествлял его с древнейшим Нимродом, то это была игра мыслей, которая придавала Иосифу известную прелесть, но нам совсем не к лицу. Точно так же он порой путал урского странника с дедом своего отца, носившим то же или почти то же имя. Между мальчиком Иосифом и странствием его духовного и физического предшественника был, согласно времяисчислительным выкладкам, отнюдь не чуждым ни его эпохе, ни его культуре, промежуток поколений в двадцать, то есть примерно в шестьсот вавилонских солнечных лет – такой же, как между нами и готическим Средневековьем – такой же и все-таки не такой же.

Хотя время по звездам мы отсчитываем в точности так же, как там и тогда, то есть как отсчитывали его задолго до урского странника, и хотя мы, в свою очередь, передадим этот счет самым далеким нашим потомкам, значение, вес и насыщенность земного времени не бывают одинаковы всегда и везде; у времени нет постоянной меры даже при всей халдейской объективности его измерения; шестьсот лет тогда и под тем небом представляли собой нечто иное, чем шестьсот лет в нашей поздней истории; это была полоса более спокойная, более тихая, более ровная; время было менее деятельно, в ходе его не так сильно, не так резко менялись вещи и мир, – хотя, конечно, за эти двадцать человеческих веков оно произвело очень существенные изменения и перевороты, даже перевороты в *природе*, изменившие земную поверхность в поле зрения Иосифа, как то известно нам и было известно ему. В самом деле, куда девались к его времени Гоморра и резиденция Лота, человека из Харрана, вступившего в близкое родство с урским искателем, – Содом, куда девались эти сластолюбивые города? Щелочное, свинцово-серое озеро разливалось там, где процветало их беззаконие, ибо на местность эту обрушился такой страшный, такой на вид всегубительный ливень смолы и серы, что дочери Лота, вовремя с ним бежавшие, те самые, которых он хотел выдать похотливым содомлянам взамен неких высоких гостей, – что они, вообразив, будто кроме них не осталось людей на земле, в женской своей заботе о продолжении рода человеческого совокупились с собственным отцом.

Вот, значит, какие зримые преобразования эти века все же произвели. Бывали времена благословенные и недобрые, изобилие и недород, бушевали войны, менялись правители, появлялись новые боги. И все-таки в целом то время было консервативней, чем наше, – образом жизни, складом ума и привычками Иосиф куда меньше отличался от своего предка из Ура, чем мы от рыцарей крестовых походов; воспоминания, основанные на устных, передававшихся из поколения в поколение рассказах, были непосредственнее, интимнее и вольнее, а время однороднее и потому обозримее; короче говоря, юного Иосифа нельзя было осуждать за то, что он мечтательно уплотнял время и порой, в часы меньшей собранности ума, например ночью, при лунном свете, считал урского странника дедом своего отца – причем этой неточностью дело даже не ограничивалось. Вероятно, добавим мы теперь, этот пращур вовсе не был в действительности выходцем из Ура. Вероятно (днем, в часы ясности, это казалось вероятным и юному Иосифу), этот урский предок вообще не видел лунного города Ура, ибо ушел оттуда на север, в Харран, что в земле Нахарин, еще *его отец* и, значит, тот, кто ошибочно назван выходцем из Ура, отправился в землю амурреев, как то указал ему владыка богов, всего только из Харрана, вместе с тем осевшим позднее в Содоме Лотом, которого родовое предание мечтательно объявило сыном брата урского странника на том основании, что Лот был «сыном Харрана». Разумеется, содомлянин Лот был сыном Харрана, коль скоро он, как и урский предок, там родился. Но если Харран, город Дороги, превращали в брата, а прозелита Лота, соответственно, в племянника урского предка, то это была, конечно, чистейшая игра мечтательного воображения, невозможная при дневном свете, но способная объяснить, почему юному Иосифу так легко давались эти замены.

Он делал их с такой же спокойной совестью, с какой, например, синеарские звездочеты и жрецы, соблюдавшие в своих гаданьях правило равнозначности светил, заменяли одно небесное тело другим – например, Солнце, когда оно заходило, планетой Нинурту, влияющей на государственные и военные дела, или планету Мардук созвездием Скорпиона, называя в таких случаях это созвездие просто Мардуком, а Нинурту Солнцем; он делал это ради практического удобства, ибо его желание установить начало событий, к которым он себя приобщал, встречало ту же помеху, с какой всегда сталкивается такое стремление: помеха состоит в том, что у каждого есть отец, что ни одна вещь на свете не появилась сама собой из ничего, а любая от чего-то произошла и обращена назад, к своим далеким первопричинам, к пучинам и глубинам колодца прошлого. Иосиф, конечно, знал, что и у отца урского странника, у истинного, стало быть, выходца из Ура, тоже наверняка был отец, с которого, значит, в сущности и началась его, странника, личная история, а у того отца – свой отец, и так далее, хотя бы вплоть до Иавала, сына Ады, до праотца живущих в шатрах и разводящих скот. Но ведь уход из Синеара был и для Иосифа только условным и частным началом, и благодаря песням и учению он прекрасно представлял себе, какие общие события этому началу предшествовали и через какое множество историй восходили они к Адапе или Адаме, первому человеку, который, согласно одной лживой вавилонской поэме, – куски ее Иосиф знал даже наизусть, – был сыном Эи, бога мудрости и водных глубин, и служил богам пекарем и виночерпием, но о котором у Иосифа имелись более священные и более точные сведения; к саду на Востоке, где стояли два дерева – древо жизни и нечистое древо смерти; к самому началу, когда мир, небо и землю сотворило из тоху и боху Слово, что носилось над водою и было богом. Но разве и это не было только условным и частным началом вещей? Ведь уже тогда восхищенно и удивленно взирали на творца разные существа: сыны бога, звездные ангелы, о которых Иосиф знал много любопытных и даже веселых историй, и гнусные демоны. Они остались, значит, еще от той предыдущей вечности, что, одряхлев, превратилась в неотесанное тоху и боху, – но была ли она началом начал?

Тут у юного Иосифа кружилась уже голова, в точности как у нас, когда мы наклоняемся над колодцем, и, несмотря на маленькие, неподобающие нам неточности, которые позволяла себе его красивая и хорошенькая головка, мы чувствуем, как он близок нам и современен перед лицом той бездонной преисподней прошлого, куда и он, далекий, уже заглядывал. Он был, нам кажется, таким же человеком, как мы, и, несмотря на раннее свое время, отстоял от начал человечества (не говоря уж о началах вещей вообще) математически так же далеко, как мы, потому что начала эти на поверку уходят в темную пасть колодца, и в своих изысканиях мы должны либо отправляться от каких-то условных и мнимых начал, путая их с началом действительным в точности так же, как путал Иосиф урского странника, с одной стороны, с отцом этого предка, а с другой – со своим собственным прадедом, либо брести назад от одного мыса к другому в бесконечную даль.

3

Мы упомянули, к примеру, что Иосиф знал наизусть красивые вавилонские стихи из одной большой, запечатленной письмом поэмы, исполненной лживой мудрости. Он слышал их от путников, которые заворачивали в Хеврон и с которыми он со свойственной ему общительностью обычно беседовал, и от своего домашнего учителя, вольноотпущенника отца, старого Елиезера – не следует путать его (как порой случалось путать Иосифу и даже самому этому старику, к его удовольствию), не следует путать его с Елиезером, старшим рабом урского странника, тем, что сватал некогда у колодца Исааку дочь Вафуила. Так вот, мы знаем эти стихи и сказания; у нас есть таблицы с их текстами, найденные в Ниниве, во дворце Ашшурбанапала, царя вселенной, сына Ассархаддона, сына Синахериба, и иные из этих глиняных, серо-желтых скиргелей, покрытых затейливой клинописью, представляют собой первоисточник предания

о великом потопе, которым господь истребил первых человеков за их растленность, потопе, игравшем и в личной истории Иосифа такую важную роль. Но если говорить правду, то слово «первоисточник», особенно его первая, наиболее яркая часть, выбрана не совсем точно; ведь поврежденные эти таблички являются копиями, которые всего за каких-нибудь шестьсот лет до нашей эры Ашшурбанапал – владыка, весьма благорасположенный к письменности и к закреплению мыслей, «премудрый», как выражались вавилоняне, и усердный собиратель богатств ума, – велел изготовить ученым рабам, а подлинник был на добрую тысячу лет старше и восходил, следовательно, ко временам законодателя и лунного странника, отчего прочесть и понять его писцам Ашшурбанапала было примерно так же легко или так же трудно, как нам, ныне здравствующим, рукопись из времен Карла Великого. Неуклюжие, давным-давно устаревшие письма этой иератической грамоты было, конечно, трудно разобрать уже и тогда, и за то, что смысл их передан безупречно, поручиться нельзя.

Однако и этот подлинник тоже, собственно, не был подлинником, *настоящим* подлинником, если присмотреться получше. Он и сам уже был списком с документа бог весть какой давности, который, хоть мы и не знаем толком времени его изготовления, можно было бы наконец признать истинным подлинником, если бы и тот, в свою очередь, не был снабжен примечаниями и приписками, сделанными рукой писца для лучшего понимания опять-таки какого-то сверхдревнего текста, но способствовавшими, вероятно, напротив, обновительному искажению его мудрости, – мы могли бы продолжить эту цепь, не смей мы надеяться, что нашим слушателям уже и так ясно, что мы имеем в виду, когда говорим о далеких мысах и о жерле колодца.

У жителей земли Египетской это понятие обозначалось особым выражением, которое Иосиф знал и при случае употреблял. Хотя дом Иакова был закрыт для хамитов из-за их надругавшегося над своим отцом и сплошь почерневшего предка и еще потому, что к обычаям Мицраима Иаков относился с религиозным неодобрением, мальчик по своему любопытству все-таки часто общался с египтянами в городах, в Кириаф-Арбе, в Сихеме, и подцепил кое-какие словечки их языка, в котором позднее ему довелось так блестяще усовершенствоваться. Так вот, о делах неопределенной, но очень большой – короче, незапамятной – давности египтяне говорили: «Это случилось в дни Сета» – так звали одного из их богов, коварного брата их Мардуга или Таммуза, которого они именовали Усири, страдальцем; прозвище это объяснялось тем, что Сет, во-первых, заманил брата в гробовой ларь и бросил в реку, а потом, как лютой зверь, растерзал его на куски и убил окончательно, после чего Усир, жертва Сета, стал повелителем мертвых и царем вечности в преисподней... «В дни Сета» – людям Мицраима часто доводилось пользоваться этим речением, ибо все их дела уходили своим началом в непроглядный мрак той поры.

На краю Ливийской пустыни, близ Мемфиса, лежал, вытянув перед собой огромные кошачьи лапы, высеченный из скалы великан, пятидесятидвухметровой высоты полулеопард, с женскими грудями, с козлиной бородой и вздыбившимся у головной повязки удавом, и нос этого каменного исполина был притуплен временем. Он лежал там всегда, и всегда его нос был источен временем, и никто не помнил поры, когда нос его еще не был так туп или когда этого сфинкса вообще не существовало. Тутмос Четвертый, золотой коршун и могучий бык, любимец богини Правды, царь Верхнего и Нижнего Египта, из той же восемнадцатой династии, что и Амон-доволен, велел во исполнение некоего наказа, полученного им во сне перед своим восшествием на престол, вырыть это исполинское изваяние из песка пустыни, которым его уже почти совсем занесло. Но уже за полторы тысячи лет до того царь Хуфу, из четвертой династии, выстроивший себе поблизости гробницу в виде огромной пирамиды и приносивший сфинксу жертвы, застал его весьма обветшалым, а о временах, когда его вообще не было или когда хотя бы нос его был цел, и вовсе никто не помнил.

Не сам ли Сет высек из камня этого чудо-зверя, которого позднее считали изображением солнечного бога и называли «Гор на светозарной горе»? Это вполне возможно, ибо Сет, как и жертва Усири, был, вероятно, не всегда богом: когда-то он, по-видимому, был человеком, и притом царем земли Египетской. В часто повторявшемся утверждении, что первую египетскую династию основал примерно за шесть тысяч лет до нашей эры некто Менес или Гор-Мени, а дотоле была «преддинастическая эпоха»; что этот Мени впервые объединил две страны, нижнюю и верхнюю, папирус и лилию, красный и белый венцы, и был первым царем Египта, история которого и начинается с его правления, – во всем этом утверждении нет, вероятно, ни одного слова правды, и если взглянуть пристальнее, то первопрародитель Мени – это просто-напросто завеса времени. Геродоту египетские жрецы сообщили, что письменная история их страны началась за 11 340 лет до его эры, а это составляет для нас примерно четырнадцать тысяч лет и делает царя Мени совсем не такой первобытной фигурой. История Египта распадается на периоды разлада и упадка и на периоды могущества и великолетия, на эпохи безвластия и многовластия и на эпохи величественного единоначалия, и становится все яснее, что уклады эти слишком часто чередовались, чтобы царь Мени мог быть и в самом деле первым единоподдержем. Разобщенности, которую он исцелил, предшествовало более раннее единство, а единству – более ранняя разобщенность; сколько раз нужно в данном случае употребить слова «более ранний», «опять-таки» и «предшествовать» – сказать нельзя; сказать можно только, что впервые единство царило при божественных династиях, отпрысками которых, по всей вероятности, и были Сет и Усири, и что история об убийстве и растерзании Усира, жертвы, мифически намекала на борьбу за престол, при которой дело не обходилось без коварства и преступлений. Это до одухотворенности, до призрачности далекое прошлое, ставшее уже мифом и богословием, сделалось предметом почтительного поклонения, приняв образ определенных животных, нескольких соколов и шакалов, которых хранили в древних столицах стран, Буто и Энхабе, животных, в которых будто бы таинственным образом продолжали жить души тех первобытных существ.

4

«В дни Сета» – это выражение нравилось юному Иосифу, и мы разделяем удовольствие, которое оно доставляло ему; нам тоже, как и людям земли Египетской, оно кажется очень удобным и уместным поистине во всех случаях: ведь на какие дела человеческие ни кинешь взгляд, всегда оно так и просится на язык, и все на свете, если взглянуть как следует, уходит своим началом действительно «в дни Сета».

В тот момент, когда начинается наша повесть, – момент этот выбран, правда, весьма произвольно, но ведь надо же с чего-то начать и что-то опустить, а не то нам самим бы пришлось начать «со дней Сета», – итак, в ту пору Иосиф уже пас скот со своими братьями, хотя эта обязанность была возложена на него в щадящем объеме: когда ему хотелось, он пас вместе с ними на выгонах у Хеврона овец, коз и коров своего отца. Каков же был вид этих животных и чем отличались они от тех, которых пасем и содержим мы? Ровно ничем. То были такие же добрые и мирные твари, прирученные в такой же мере, как ныне, и вся история разведения, скажем, крупного рогатого скота, ведущего свой род от диких буйволов, была во времена юного Иосифа уже такой древней, что просто смешно, говоря о подобных отрезках времени, употреблять слово «давно»: крупный рогатый скот был, как известно, приручен уже в самом начале той эпохи каменных орудий, которая предшествовала железному и бронзовому векам и от которой амуррейский мальчик Иосиф, получивший вавилонско-египетское образование, отстоял почти так же далеко, как мы, ныне здравствующие, – разница тут ничтожна.

Если же мы спросим о дикой овце, приручением которой была «некогда» выведена Иаковлева и наша порода овец, то узнаем, что дикая овца полностью вымерла. Ее «давно» не суще-

ствуется вообще. Она стала домашним животным не иначе как в дни Сета, и приручение лошади, осла, козы и свиньи, предком которой был растерзавший овчара Таммуза дикий кабан, относится к той же туманной дате. Наши исторические записи охватывают около семи тысяч лет, и за это время, во всяком случае, ни одно дикое животное не было одомашнено. Это лежит за пределами человеческой памяти.

Тогда же произошло и превращение диких и тощих трав в благородные хлебные злаки. Наша ботаника, к величайшей своей досаде, не в состоянии возвести наши зерновые растения, которыми питался также Иосиф, – ячмень, овес, рожь, кукурузу и пшеницу, – к их дикорастущим предкам, и ни один народ не может похвастаться, что он первым стал сеять и разводить эти злаки. Нам известно, что в каменном веке в Европе было пять разновидностей пшеницы и три разновидности ячменя. Что же касается открытия виноградарства, достижения беспримерного, если смотреть на это как на завоевание человека, отвлекаясь от всяких других возможных по этому поводу суждений, то предание, несущее отголосок головокружительных глубин времени, приписывает эту заслугу Ною, пережившему потоп праведнику, тому самому, кого вавилоняне называли Утнапиштим и еще Атрахасис, премудрый, и кто поведал о началах вещей поздному своему потомку Гильгамешу, герою упомянутых клинописных поэм. Этот праведник, как Иосиф тоже знал, прежде всего насадил виноградники, – что, кстати, казалось Иосифу не таким уж праведным делом. Неужели тот не мог посадить что-нибудь действительно полезное? Смоковницы, например, или маслины? Так нет же, он вырастил сперва виноград и опьянел от вина, и, когда он был пьян, над ним надругались и оскостили его. Но если Иосиф думал, что чудовищный этот случай произошел не очень давно и что виноградарством люди начали заниматься всего за какой-нибудь десяток поколений до его «прадеда», то это было мечтательным заблуждением, благочестиво приближавшим невообразимую древность, – причем и эта древность, добавим мы с тихим изумлением, была, в свою очередь, уже настолько поздней, уже настолько далекой от начала рода человеческого, что могла родить премудрость, способную на такой подвиг цивилизации, как облагороженье дикой лозы.

Где истоки человеческой цивилизации? Каков ее возраст? Мы задаем этот вопрос, глядя на далекого Иосифа, чей уровень развития, если не считать маленьких мечтательных неточностей, вызывающих у нас дружелюбную улыбку, существенно уже не отличался от нашего. Но стоит только задать этот вопрос, как сразу же дразняще открываются все новые и новые мысы. Когда мы говорим о «древности», мы обычно имеем в виду греческо-римский мир, то есть мир сравнительно свежей новизны. Дойдя до так называемых «коренных» жителей Греции, пеласгов, мы видим, что острова, где они осели, были дотоле заселены настоящими коренными жителями, племенем, которое овладело морем еще раньше, чем финикийцы, и, значит, финикийцы как «первые морские разбойники» – это только очередная завеса, очередной мыс. Мало того, наука все увереннее предполагает, что эти «варвары» были колонистами с Атлантиды, затонувшего материка по ту сторону Геркулесовых столпов, который некогда соединял Европу и Америку. Но вот чтобы он был первой обитаемой областью земли, – это предположение настолько сомнительно, что граничит с невероятностью и лишь наводит на мысль, что начальная история цивилизации, а также история премудрого Ноя связана с какими-то гораздо более древними, намного раньше погибшими землями.

Это недостижимые мысы, которые можно только туманно обозначить упомянутым египетским выражением, и народы Востока поступали умно и благочестиво, считая зачинателями своей культуры богов. Красноватые люди Мицраима видели в страдальце Усири благодетеля, который первым обучил их земледелию и дал им законы и чья деятельность прерывалась только из-за козней Сета, уподобившегося дикому кабану. Китайцы считали основателем своей державы императора-полубога по имени Фу-Хи, который будто бы ввел у них разведение крупного скота и обучил их прекрасному искусству письма. Для астрономии они тогда, в 2852 году до нашей эры, явно еще, по мнению этого высшего существа, не созрели, ибо, согласно их лето-

писям, эта наука была преподана им только тринадцать столетий спустя великим чужеземным императором Таи-Ко-Фоки, хотя синеарские жрецы-звездочеты разобрались в знаках зодиака, несомненно, уже за много веков до этого, и у нас есть даже сведения, что один из участников похода Александра Македонского в Вавилон послал Аристотелю нацарапанные на обожженной глине халдейские астрономические выкладки, которым сегодня было бы 4160 лет. Это вполне возможно; ведь очень вероятно, что наблюдением небесных светил и календарными вычислениями занимались уже в стране Атлантиде, исчезнувшей, по Солону, за девять тысяч лет до рождения этого ученого, и что, значит, уже за одиннадцать с половиной тысяч лет до нашей эры человек дорос до усвоения этих высоких искусств.

Что искусство письма не моложе, а, вероятно, значительно старше – ясно само собой. Мы упоминаем о нем потому, что Иосиф был особенно к нему привержен и, в отличие от всех своих братьев, рано стал в нем совершенствоваться, постигая, поначалу с помощью Елиезера, и вавилонскую, и финикийскую, и хеттскую грамоту. Он питал прямо-таки пристрастие, прямо-таки слабость к тому богу или, вернее, идолу, которого на Востоке называли Набу, писцом историй, а в Тире и Сидоне – Таутом и повсюду считали изобретателем знаков и летописцем древнейших событий, – к египетскому Тоту из Шмуна, письмоводителю богов и покровителю науки, чья должность почиталась там внизу больше всех других должностей, – к этому правдивому, умеренному и заботливому богу, то принимавшему облик седовласой обезьяны приятной наружности, то появлявшемуся с головой ибиса и, что было опять-таки во вкусе Иосифа, поддерживавшему самые нежные и торжественные отношения с главным светилом ночи. При Иакове, своем отце, юноша не смел и заикнуться об этой склонности, ибо тот сурово осуждал такое заигрывание с идолами, проявляя, пожалуй, большую строгость, чем даже некие высшие инстанции, ради которых он, собственно, и был так строг; ведь история Иосифа показывает, что они не очень-то или, во всяком случае, недолго обижались на него за такие маленькие отступления от дозволенного.

Что касается письма, то, намекая на туманность его происхождения, можно слегка изменить известный уже египетский оборот и сказать, что оно появилось во дни Тота. Изображения рукописного свитка имеются на самых древних египетских памятниках, и нам известен папирус, принадлежавший Гор-Сенди, царю второй тамошней династии, но уже тогда, шесть тысяч лет назад, считавшийся таким древним, что говорили, будто Сенди получил его в наследство от Сета. В царство Снофру и уже упомянутого Хуфу, сыновей Солнца четвертой династии, когда строились пирамиды в Гизехе, грамотность была распространена в низших слоях народа настолько, что ныне ведется изучение нехитрых надписей, нацарапанных рабочими на исполненных каменных глыбах. Однако в столь широкой распространенности знаний в такие далекие времена нет ничего удивительного, если вспомнить, что сообщали о возрасте письменной истории Египта жрецы.

Но уж если так несметны века запечатляемой знаками речи, то в каких веках отыщешь начало речи устной? Говорят, что древнейшим языком, праязыком, был индогерманский, индоевропейский язык – санскрит. Но можно не сомневаться, что этот «первоисток» выбран так же опрометчиво, как всякий другой, и что существовал опять-таки еще более древний язык, содержащий в себе корни не только арийских, но также семитских и хамитских наречий. Вероятно, на этом языке говорили на Атлантиде, очертания которой маячат последним, еще кое-как различимым мысом в тумане прошлого, но которая тоже вряд ли является самой первой родиной говорящего человека.

5

Некоторые находки заставляют специалистов-историков считать, что человек как биологический вид появился пятьсот тысяч лет назад. Это не такой уж большой срок, если, во-

первых, иметь в виду, что, по данным нынешней науки, человек как животное является древнейшим млекопитающим и уже на поздней заре жизни, до того, как стал развиваться головной мозг, существовал на земле в различных зоологических личинах – в виде земноводных и пресмыкающихся; во-вторых, если представить себе, какое огромное нужно было время, чтобы тот полусогбенный, со сросшимися пальцами, потрясемый проблесками зачаточного еще разума, чтобы тот похожий на сумчатое животное, бродящий как во сне зверь, каким, по-видимому, был человек до появления премудрого Утнапиштима-Ноя, изобрел стрелы и лук, научился пользоваться огнем, ковать метеоритное железо, выращивать хлеб, разводить домашних животных и виноград, – одним словом, стал тем смышленным, умелым и во всех решающих отношениях современным существом, каким предстает перед нами человек уже на самых первых порах своей истории. Один саисский жрец истолковал Солону греческое предание о Фазтоне в том смысле, что человечество было свидетелем какого-то отклонения вращающихся вокруг Земли небесных тел, следствием которого был опустошительный пожар на земле. И правда, становится все несомненное, что смутные воспоминания человечества, бесформенные, но приобретающие в мифах все новые и новые формы, восходят к катастрофам огромной древности, предание о которых, питаемое позднейшими и менее крупными событиями подобного рода, прижилось у разных народов и образовало ту самую череду мысов, те самые кулисы, что так влекут к себе и волнуют всякого, кто устремляется вглубь времен.

Упомянутые уже стихи, которые Иосиф заучил с чужих слов, излагали среди прочего историю великого потопа. Иосиф все равно узнал бы об этой истории, даже если бы и не познакомился с нею на вавилонском языке и в вавилонской передаче; она бытовала на его Западе вообще и в кругу его близких в частности, хотя в несколько другой форме и с другими подробностями, чем в Двуречье. Как раз во времена его юности она закреплялась у него дома в отличном от восточного изложение, благодаря чему Иосиф прекрасно знал о тех днях, когда всякая плоть, не исключая и животных, неописуемо извратила свой путь, так что даже сама земля растлилась и, если сеяли пшеницу, плодила плевелы, а так как все это продолжалось вопреки предостережениям Ноя, то в конце концов господь и творец, чьи ангелы и те замарались подобными мерзостями, не выдержал и по истечении последней двадцатилетней отсрочки вынужден был, к собственному огорчению, обрушить на землю карающие хляби! И о том, как господь бог по величественному своему добродушию (которого ангелы отнюдь не разделяли) все-таки оставил для жизни спасительную лазейку в виде осмоленного ковчега, куда вошел Ной со своими животными, – об этом Иосиф знал тоже. Знал он и день, когда живые твари вошли в ковчег; то был десятый день месяца хешвана, а потоп начался в семнадцатый, в самую пору весеннего таяния снегов, когда засветло восходит звезда Сириус и прибывает вода в колодцах. Иосиф узнал эту дату от старика Елиезера. Но сколько прошло с тех пор годовщин? Об этом он не задумывался, об этом не задумывался и старик Елиезер, и тут-то начинаются всякие сокращения, смешения и смещения, которых так много в этом предании.

Одному небу известно, когда именно столь опустошительно разлился Евфрат, река и вообще-то довольно беспокойная и буйная, или столь глубоко, с таким вихрем и землетрясением, вторгся в сушу Персидский залив, чтобы эти события, не скажем: породили, нет, но, во всяком случае, в последний раз освежили предание о потопе, оживили его ужасающей достоверностью и прослыли в последующих поколениях *великим* потопом. Возможно, что последнее бедствие такого рода случилось и в самом деле не так уж давно, и чем оно ближе, тем любопытней вопрос, удалось ли и как удалось поколению, испытывавшему его на собственной шкуре, спутать это современное событие с преданием, с *великим* потопом. Да, удалось, но это не дает ни малейшего повода для удивления и не свидетельствует о недостатке ума. Главное было не в том, что какое-то событие прошлого повторилось, а в том, что оно произошло вот сейчас. А произойти сейчас оно могло потому, что условия, которые его вызвали, были налицо во всякое время. Во всякое время пути плоти были извращены или могли быть извращены

даже при самых благочестивых побуждениях; откуда людям знать, праведны или неправедны они перед богом, и не мерзко ли небожителям то, что кажется человеку праведным? Глупые человеки не знают бога и не знают приговора преисподней; во всякое время может иссякнуть долготерпение, начаться суд, тем более что их предостерег уже один мудрец и дока, который умел толковать знамения и, благодаря хитроумной своей предусмотрительности, единственный из множества тысяч ускользает от гибели, но сперва доверяет земле скрижали своего знания, как семена будущей мудрости, чтобы потом, когда вода схлынет, от этого письменного посева все пошло снова. Во всякое время – таков девиз этой тайны. У тайны этой нет времени; но форма вневременности – это Вот Сейчас и Вот Здесь.

Итак, потоп был у Евфрата, однако в Китае он тоже был. Там около 1300 года до нашей эры чудовищно разлилась река Хуанхэ, что, кстати сказать, дало повод искусственно изменить ее русло. Этот разлив был повторением потопа, случившегося на тысячу пятьдесят лет раньше, при пятом императоре, и Ноя этого потопа звали Яу. Но и то наводнение по времени отнюдь не было настоящим, великим, первым потопом, ибо память об этом событии-подлиннике сохранилась у самых различных народов; подобно тому как вавилонская поэма о потопе, которую знал Иосиф, представляла собой лишь список со все более и более древних подлинников, сама идея потопа восходит ко все более отдаленным прообразам, и последним, истинным ее прообразом люди – с наибольшим, по их мнению, основанием – считают погружение в морскую пучину земли Атлантиды; эта ужасная весть, считают они, проникла во все уголки земли, заселенной некогда выходцами с Атлантиды, и навсегда закрепились в человеческой памяти изменчивым преданием. Однако это мнимый предел, промежуточный, а не конечный рубеж. По подсчетам халдеев, от великого потопа до начала первой исторической династии Двуречья прошло 39 180 лет. Следовательно, гибель Атлантиды, происшедшую всего лишь за девять тысяч лет до Солона, то есть катастрофу с точки зрения истории земли весьма позднюю, никак нельзя считать великим потопом. Она тоже была только повторением, только претворением прошлого в настоящее, только ужасающим напоминанием; истинное же начало этой истории надо отнести по меньшей мере к той неизмеримо далекой поре, когда огромный остров под названием Лемурия, в свою очередь представлявший собой лишь остаток древнего материка Гондваны, исчез в волнах Индийского океана.

Нас занимают не числовые выражения времени, а то уничтожение времени в тайне взаимозаменяемости предания и пророчества, которое придает слову «некогда» двойное значение прошлого и будущего, и тем самым заряжает это слово потенцией настоящего. Здесь корни идеи перевоплощения. Цари Вавилона и обоих Египтов, упомянутый уже курчавобородый Куригальзу, а равно и Гор, что блистал во дворе в Фивах и носил имя «Амун-доволен», и все их предшественники и преемники *были* плотскими ипостасями бога Солнца, – то есть миф становился в них мистерией, и грань между «быть» и «значить» стиралась начисто. Времена, когда можно было спорить, «является» ли просфора телом жертвы или только «означает» его, наступили только три тысячи лет спустя; но и эти весьма праздные словопрения ничуть не поколебали того факта, что суть тайны по-прежнему заключена во вневременном настоящем. В этом и состоит смысл обрядов, праздника. Каждое Рождество заново рождается на свет младенец-спаситель, которому суждено страдать, умереть и воскреснуть. И когда в Сихеме или Бет-Лахаме во время летнего солнцестояния Иосиф на «празднике плачущих женщин», «празднике зажженных светильников», празднике в честь Таммуза, под всхлипывания флейт и крики радости, переживал, как будто все это случалось при нем, – и убийство «пропавшего сына» отрока-бога, Усира-Адонай, и его воскресение, – то тут как раз и происходило то уничтожение времени в тайне, которое нас занимает, – занимает потому, что оно доказывает логическую состоятельность мышления, сразу узнававшего во всяком бедственном полноводье великий потоп.

6

К истории потопа примыкает история Великой Башни. Будучи, как и первая, общим достоянием, она оживала в разных местах и давала поводы для образования кулис и мечтательной путаницы не меньше, чем первая. Что, например, башню вавилонского храма Солнца, носившую название Эсагила, или Дом Вознесения Глав, Иосиф считал той самой великой башней, – это столь же несомненно, сколь и простительно. Уже странник из Ура, безусловно, считал ее великой башней, да и не только в окружении Иосифа, а прежде всего в самой земле Синеар на этот счет не было никакого другого мнения. Древняя и громадная башня Эсагила, воздвиг которую, как полагали, с помощью первых своих созданий – черноголовых – сам Бел, творец, а обновил и достроил законодатель Хаммурагаш, семиуступная эта башня, о финифтяном великолепии которой слышал Иосиф, была для всех халдеев зримо-реальным воплощением понятия, дошедшего до них от незапамятно давних времен – Великой Башни, творения рук человеческих, высотой до небес. Если в узком кругу Иосифа сказание о башне связывалось с какими-то другими, по существу не относящимися к делу представлениями, например с идеей «рассеяния», то объясняется это только личным отношением к башне лунного странника, его обидой и его уходом; для людей Синеара между мигдалами, крепостными башнями их городов, и названным нами понятием не было ничего общего: напротив, законодатель Хаммурагаш велел оговорить в особой надписи, что он затем и сделал их такими высокими, чтобы «вновь сплотить» под своим, посланца неба, владычеством рассеивающийся народ. Лунный предок, однако, усмотрел в этом нечто обидное в божественном смысле и вопреки единодержавным намерениям Нимрода рассеялся; поэтому то прошлое, которое реально воплощалось в Эсагиле, приобрело привкус будущего, привкус пророчества. Суд витал над этим строптиво поднявшимся до небес памятником царской Нимродовой дерзости; камня на камне не должно было от него остаться, а его строителей должен был смешать и рассеять владыка богов. Так учил сына Иакова старый Елиезер, сохраняя двойной смысл слова «некогда», то единство предания с пророчеством, плодом которого была вневременная реальность, халдейская башня.

С ней, таким образом, и связывалось у Иосифа предание о Великой Башне. Но совершенно ясно, что Эсагила – это только кулиса, только один из многих мысов на неизмеримом пути к подлинной башне. Для людей Мицраима эта башня тоже была реальностью и воплощалась в стоявшем среди пустыни поразительном надгробье царя Хуфу. Но и в землях, о существовании которых ни Иосиф, ни старый Елиезер даже не подозревали, посреди Америки, тоже имелась своя «башня» или, вернее, своя аллегория башни, огромная пирамида в Халуле, размеры которой, судя по развалинам, непременно вызвали бы у царя Хуфу досаду и зависть. Жители Халулы всегда отрицали, что это исполинское сооружение – дело их рук. Они утверждали, что пирамида сооружена действительно исполинами: какой-то, по уверениям тамошних жителей, пришедший с востока и одержимый тоской по солнцу искусный народ, истово трудясь, воздвиг это здание из глины и горной смолы, чтобы приблизиться к любимому своему светилу. Многие говорят в пользу предположения, что эти высокоразвитые чужеземцы были колонистами с Атлантиды, и похоже на то, что куда бы ни прибывали эти солнцепоклонники и ярые астрономы, у них не находилось более срочного дела, чем сооружать на глазах у изумленных аборигенов огромные обсерватории по образцу высочайших отечественных построек, и в частности, Горы Богов посреди их страны, о которой рассказывает Платон. Возможно, стало быть, что прообраз Великой Башни следует искать в Атлантиде. Во всяком случае, мы не в состоянии проследить более давнюю историю Башни и потому кончаем свои рассуждения об этом странном предмете.

Где же находился рай, «сад на востоке», место покоя и счастья, родина человека, где он вкусил от дурного древа и откуда был изгнан или, вернее, изгнал и рассеял себя самого? Юный Иосиф знал это не хуже, чем историю потопа, и из тех же источников. Он только улыбался, когда жители пустыни из Сирии объявляли раем большой оазис Дамаск, не в силах представить себе ничего более чудесного, чем бойкий торговый город, расположенный среди луговых озер, царственных гор и плодовых рощ, утопающий в прекрасно орошенных садах и кишмя кишящий самым разнообразным людом. Не пожимал он из вежливости плечами, но внутренне пожимал ими и тогда, когда жители Мицраима заявляли, что сад этот находился, само собой разумеется, в Египте, ибо середина и пуп вселенной – Египет. Курчавобородые синейцы тоже считали, что их столица, которую они называли «Врата бога» и «Союз Неба и Земли» (мальчик Иосиф повторял за ними эти слова на их очень ходовом тогда языке: «Вав-илу, маркас шаме у ирси-тим», – произносил он быстро и ловко) – что Вавилон, стало быть, – это священная середина вселенной. Но у Иосифа были насчет пупа вселенной более подробные и точные сведения, почерпнутые из истории его доброго, задумчивого и торжественного отца, который, еще в молодости, отправившись к дяде в страну Нахараим, на пути в Харран от «Семи колодцев», где жила его семья, неожиданно-негаданно набрел на истинные врата неба, на подлинный пуп вселенной: то был холм Луз со священным каменным кругом, место, которое отец затем назвал Вефиль, Дом Божий, ибо здесь, убегая от Исава, он сподобился самого потрясающего в своей жизни откровения. Здесь, на холме, где Иаков поставил памятником и полил маслом каменное свое изголовье, здесь была с тех пор для близких Иосифа середина вселенной и пуповина, связующая небо и землю; но рай был и не здесь, а на изначальной родине, он, по ребяческому убеждению Иосифа, убеждению, впрочем широко распространенному, находился где-то там, откуда некогда вышел странник лунного города, в нижнем Синеаре, где разделялась река и где влажная земля между ее рукавами поныне еще изобиловала деревьями, приносящими лакомые плоды.

Мнение, что Эдем нужно искать где-то здесь, в Южной Вавилонии, и что тело Адама было сотворено из вавилонской земли, надолго осталось господствующим богословским учением. Однако и в этом случае перед нами опять знакомая нам кулиса-преграда, та же система наслоений и соотнесенных с определенным местом древних прообразов, которую нам уже не раз доводилось наблюдать, – только на этот раз тут есть что-то необычное, в точнейшем смысле слова заманчивое и уводящее за пределы земного; только на этот раз колодец человеческой истории показывает всю свою глубину, неизмеримую глубину – вернее, бездонность, к которой уже не подходит понятие глубины или темноты, а подходит, наоборот, представление о высоте и о свете, – о светлой высоте, откуда и произошло *падение*, история которого неразрывно связана с памятью нашей души о саде блаженства.

Дошедшее до нас описание рая в одном отношении точно. Из Эдема, сказано там, выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки: Фисон, Гихон, Евфрат и Хидекель. Фисон, как добавляют толкователи, зовется также Гангом; он обтекает всю землю индов и несет с собой золото. Гихон – это Нил, величайшая река мира, а обтекает он землю мавров. Что же касается Хидекеля, реки быстрой как стрела, то это Тигр, протекающий перед Ассирией. Последнее ни у кого не вызывает возражений. Возражения, и притом веские, вызывает отождествление Фисона и Гихона с Гангом и Нилом. Полагают, что речь идет об Араксе, впадающем в Каспийское, и о Галисе, впадающем в Черное море, и что рай, следовательно, хоть и был в поле зрения вавилонян, находился на самом деле не в Вавилонии, а в той горной области Армении, севернее Месопотамской равнины, где соседствуют истоки упомянутых четырех рек.

Это мнение представляется вполне разумным. Ведь если, как то утверждает достопочтеннейший источник, «Фрат», или Евфрат, выходил из рая, то никак нельзя допустить, что рай находился где-то близ устья Евфрата. Но, признав это и отдав пальму первенства стране Армении, мы всего-навсего сделаем шаг к следующей правде и остановимся только на одну кулису, только на одну путаницу дальше.

Четыре стороны – так учил Иосифа уже старик Елиезер – дал миру бог: утро, вечер, полдень и полночь, хранимые у самого престола господня четырьмя священными животными и четырьмя ангелами, не спускающими глаз с этой основы основ. И разве не в точности на четыре страны света глядят нижеегипетские пирамиды своими покрытыми блестящим цементом гранями? Так же расположены и райские реки. В своем течении они подобны змеям с соприкасающимися остриями хвостов и направленными к четырем разным странам света, а потому далекими одна от другой головами. Это явное заимствование. В Переднюю Азию перенесена география, хорошо знакомая нам по описанию другой, исчезнувшей земли, а именно Атлантиды, где, по Платону, посреди острова возвышалась Гора Богов, а от нее точно так же, то есть крестом, на четыре стороны света, растекались те же четыре реки. Всякий ученый спор о географическом значении «главных рек» и о местонахождении самого сада приобретает успокоительно-праздный характер благодаря сведениям, из которых явствует, что соотносимая с разными местами идея рая обязана своей наглядностью памяти народов об исчезнувшей земле, где, живя по священным и кротким законам, благоденствовало высокомудрое человечество. Совершенно ясно, что предание о рае в узком смысле слова смешалось с легендой о золотом веке. Память об этом веке по праву, видимо, связана с той гесперийской страной, где, если не врут все наши источники, какой-то великий народ вел в неповторимо благоприятных условиях мудрую и благочестивую жизнь. Но «садом в Эдеме», прародиной и местом падения, эта страна вовсе не была; она лишь кулиса, лишь мнимый конец пространственно-временных поисков рая; ибо первобытного человека, адамита, история земли относит ко временам и пространствам, канувшим в прошлое еще до заселения Атлантиды.

О дразнящая обманчивость поисков! Если еще допустимо, если еще простительно, хотя и ошибочно было отождествлять с раем страну золотых яблок, где текли четыре реки, – то как можно было при полной даже готовности к самообману упорствовать в таком заблуждении, зная о мире лемуров, составляющем самый близкий и самый далекий пласт, мире, где жалкое подобие человека, существо, в котором прекрасный лицом и станом Иосиф отказался бы с понятным негодованием узнать себя, томилось одновременно сладким и страшным сном своей жизни в отчаянной борьбе с огромными броненосными саламандрами и летающими ящерами? Это не был «сад в Эдеме», это был ад. Это была, скорее, первая после падения, несчастная полоса. Нет, не здесь, не у начала времени и пространства, был сорван и съеден плод с дерева вожденья и смерти. Это случилось раньше. Колодец времен целиком пройден, а мы еще не достигли той конечной, той начальной цели, к которой стремились; история человека древнее, чем материальный мир, являющийся делом его воли, она древнее, чем жизнь, на его воле основанная.

8

Очень древняя традиция, возникшая на почве правдивейшего самоощущения человека и воспринятая религиями, пророчествами и сменяющими друг друга гносеологиями Востока, авестой, исламом, манихейством, гностицизмом и эллинизмом, связана с образом первого или совершенного человека, древнееврейского *adam gadmon*; его нужно представлять себе юношей из чистого света, созданным до начала мира как символ и прототип человечества; образ этот разные учения и преданья варьируют, но в самом существенном они совпадают. По смыслу их, в начале начал прачеловек был избранником бога и борцом против проникавшего в ново-

созданный мир зла, но потерпел поражение, был скован демонами, заключен в материю и оторван от своего корня; правда, второй посланец божества, который таинственным образом был тем же самым избранником, высшей его частью, освободил узника от мрака телесно-земного существования и вернул его в царство света, однако частицу собственного света тот вынужден был оставить, и она пошла в ход при создании материального мира и земных человек. Чудесные истории! В них уже различим элемент веры в спасенье, но он еще прячется за космогоническими целями: оказывается, в своем теле богорожденный прачеловек содержал семь металлов, которым соответствуют семь планет – те самые металлы, из которых построен мир. По другой версии, этот возникший из отцовской первопричины светочеловек прошел через семь планетных сфер и был приобщен их владыками к природе каждой из них. Взглянув затем вниз, он будто бы увидел в материи свое отражение, полюбил его, спустился к нему и таким образом попал в узы дольной природы. Этим-то будто бы и объясняется двойственная человеческая природа, неразделимо соединяющая в себе признаки божественного происхождения и органической свободы с тягостной прикованностью к дольному миру.

В этом нарциссовском образе, полном трагической прелести, проявляется смысл занимающего нас предания; ведь такое прояснение наступает в тот миг, когда уход сына-бога из горного царства света в низменную природу перестает быть простым исполнением высшей воли, невинным, следовательно, поступком, и приобретает характер самостоятельно-добровольного, волеизъявленного действия, характер, стало быть, какой-то провинности. Одновременно перестает быть загадкой значение «второго посланца», в высшем смысле тождественного светочеловеку и прибывшего для того, чтобы освободить его от пут темноты и вернуть восвояси. В этот момент предание делит мир на три действующих лица – материю, душу и дух, – между каковыми, с участием божества, и разыгрывается тот роман, настоящим героем которого является склонная к авантюризму и благодаря авантюризму творческая душа человека, роман, который, как самый заправский миф, соединяет весть о начале с предвестием конца и дает ясные сведения об истинном месте рая и о «падении».

Получается, что душа, то есть прачеловеческое начало, была, как и материя, одной из первооснов бытия и что она обладала жизнью, но не обладала знанием. В самом деле, пребывая вблизи бога, в горнем мире покоя и счастья, она беспокойно склонилась – это слово употреблено в прямом смысле и показывает направление – к бесформенной еще материи, одержимая желанием слиться с ней и произвести из нее формы, которые доставили бы ей, душе, плотское наслаждение. Однако после того, как душа поддалась соблазну и спустилась с отечественных высот, муки ее похоти не только не унялись, но даже усилились и стали настоящей пыткой из-за того, что материя, будучи упрямой и косной, держалась за свою первобытную беспорядочность, наотрез отказывалась принять угодную душе форму и всячески сопротивлялась организации. Тут-то и вмешался бог, решив, по-видимому, что при таком положении дел ему ничего не остается, как прийти на помощь изначально существовавшей с ним рядом, а теперь сбившейся с пути душе. Он помог ей в ее любовном борении с неподатливой материей; он сотворил мир, то есть создал в нем, в угоду первобытночеловеческому началу, прочные, долговечные формы, чтобы от этих форм душа получила плотскую радость и породила людей. Но сразу же после этого, следуя своему замысловатому плану, он сделал еще кое-что. Из субстанции своей божественности, как дословно сказано в цитируемом нами источнике, он послал в этот мир, к человеку, *дух*, чтобы тот разбудил уснувшую в человеческой оболочке душу и по приказу отца своего разъяснил ей, что в этом мире ей нечего делать и что ее чувственное увлечение было грехом, следствием которого сотворение этого мира и нужно считать. О том дух и твердит, о том и напоминает без устали заключенной в материю душе, что, если бы не ее дурацкое соединенье с материей, мир не был бы сотворен и что, когда она отделится от материи, мир форм сразу же перестанет существовать. Убедить в этом душу и есть задача духа, и все его надежды, все его усилия устремлены на то, чтобы одержимая страстью душа, поняв эту

ситуацию, вновь признала наконец горнюю свою родину, выкинула из головы дольний мир и устремилась в отечественную сферу покоя и счастья. В тот миг, когда это случится, дольний мир бесследно исчезнет; к материи вернется ее косное упрямство; не связанная больше формами, она сможет, как и в правечности, наслаждаться бесформенностью, и значит, тоже будет по-своему счастлива.

Таково это учение, таков этот роман души. Здесь, несомненно, достигнуто последнее «раньше», представлено самое дальнее прошлое человека, определен рай, а история грехопадения, познания и смерти дана в ее чистом, исконном виде. Прачеловеческая душа – это самое древнее, вернее, одно из самых древних начал, ибо она была всегда, еще до времени и форм, как всегда были бог и материя. Что касается духа, в котором мы узнаем «второго посланца», призванного возвратить домой душу, то он каким-то неопределенным образом глубоко родствен душе, но не является полным ее повторением, ибо он моложе; он порожден и послан богом, чтобы образумить и освободить душу, уничтожив для этого мир форм. А если некоторые формулы изложенного учения утверждают высшую тождественность души и духа или иносказательно на нее намекают, то для этого есть основания. Дело не только в том, что поначалу прачеловеческая душа выступает божьим соратником в битве против зла и что, следовательно, приписываемая ей роль весьма сходна с той, которая потом достается духу, посланному освободить ее самое. Учение недостаточно обосновывает это подобие скорее потому, что не вполне раскрывает роль, исполняемую в романе души *духом*, и в этом пункте явно должно быть дополнено.

Задача духа в этом мире форм и смерти, возникшем благодаря бракосочетанию души и материи, обрисована совершенно ясно и четко. Миссия его состоит в том, чтобы пробудить в душе, самозабвенно отдавшейся форме и смерти, память о ее высоком происхождении; убедить ее, что она совершила ошибку, увлекшись материей и тем самым сотворив мир; наконец, усилить ее ностальгию до такой степени, чтобы в один прекрасный день она, душа, полностью избавилась от боли и вожделенья и воспарила домой, – что незамедлительно вызвало бы конец мира, вернуло материи ее былую свободу и уничтожило смерть. Бывает, однако, что посол заживется в чужой вражеской державе и, растлившись, погибнет для собственной: приглядываясь, принаравливаясь и привыкая понемногу к чужим обычаям, он настолько порой проникается интересами и взглядами врага, что уже не может защищать интересы своей родины, и его приходится отозвать. То же самое или примерно то же происходит и с выполняющим свою миссию духом. Чем больше он ее выполняет, чем дольше он занят дипломатией здесь внизу, тем заметнее – таково уж тлетворное влияние чужбины – какой-то внутренний надлом в его деятельности, надлом, который вряд ли замалчивался бы в высшей сфере и, по всей вероятности, привел бы к отзыванию духа, если бы не так трудно было решить вопрос о целесообразной замене.

Нет ни малейшего сомнения, что, по мере того как игра затягивается, дух начинает не на шутку стыдиться своей роли губителя и могильщика мира. Принаравливаясь к окружающей среде, дух меняет свою точку зрения на вещи до такой степени, что теперь он, считавший своей задачей уничтожение смерти, ощущает себя, наоборот, смертельным началом, несущим миру смерть. Это в самом деле вопрос позиции, точки зренья, решить его можно и так и этак. Только надо знать, какой взгляд на вещи тебе к лицу и отвечает твоей задаче, иначе с тобой произойдет то, что мы, не обинуясь, назвали растленьем, и ты не исполнишь естественного своего назначения. Тут обнаруживается известная слабыхарактерность духа, ибо своей славой смертельного начала и разрушителя форм – славой, которой он к тому же обязан главным образом собственной натуре, собственной, оборачивающейся даже против себя самой воле к рассуждению, – этой славой он очень тяготится и считает делом своей чести избавиться от нее. Не то чтобы он умышленно изменял своему долгу; но, поддаваясь этой тяге к рассуждению и порыву, который можно назвать недозволенной влюбленностью в душу и в ее страсти, он говорит совсем не

то, что собирался сказать, поощряет душу и ее увлечение и, прихотливо глумясь над своими чистыми целями, защищает формы и жизнь. Идет ли на пользу духу такое предательское или граничащее с предательством поведение; не продолжает ли он все равно, даже и таким способом, служить цели, ради которой послан, то есть уничтожению материального мира изъятием из него души, и не отдает ли себе в этом полнейшего отчета сам дух, а значит, не ведет ли он себя так лишь потому, что, в сущности, знает, что может себе позволить подобное поведение, — этот вопрос остается открытым. Во всяком случае, в этом глумливо-самоотступническом слиянии воли духа с волей души можно найти объяснение той иносказательной формуле учения, согласно которой «второй посланец» есть второе «я» светочеловека, посланного побороть зло. Да, вполне возможно, что в этой формуле скрыт пророческий намек на тайные решения бога, показавшиеся нашему учению слишком священными и неясными, чтобы сказать о них прямо.

9

Если все как следует взвесить, то о «грехопадении» души или изначального светочеловека можно говорить только при чрезмерной нравственной скрупулезности. Согрешила душа, во всяком случае, только перед самой собой — легкомысленно пожертвовав своим первоначально спокойным и счастливым состоянием, но не перед богом, — нарушив, к примеру, его запрет страстным своим порывом. Никакого запрета, по крайней мере согласно принятому нами учению, от бога не исходило. Если же благочестивое предание и упоминает о запрете, о том, что бог запретил первым людям есть от древа познания «добра и зла», то, во-первых, речь здесь идет о каком-то вторичном и уже земном событии, о людях, возникших при творческом содействии самого бога, в результате познания материи душой; и если бог действительно подверг их этому испытанию, то можно не сомневаться, что ему был наперед известен его исход, и непонятно только, зачем это богу понадобилось, установив запрет, которым наверняка пренебрегут, вызывая злорадство у ангельского своего окружения, настроенного в отношении человечества весьма недоброжелательно. А во-вторых, поскольку слова «добро и зло» несомненно представляют собой, как всеми и признано, глоссу и добавление к чистому тексту и на самом деле речь идет просто о познании, следствием которого является не нравственная способность различать добро и зло, а смерть, — то вполне вероятно, что и само упоминание о «запрете» тоже представляет собой благонамеренную, но неудачную вставку.

В пользу этой догадки, помимо всего прочего, говорит то, что бог не разгневался на душу за ее любострастное поведение, не отрекся от нее и не подверг ее какой-либо каре, более жестокой, чем ее добровольное страдание, возмещавшееся как-никак удовольствием. Наоборот, при виде увлечения души он явно проникся к ней если не симпатией, то, уж во всяком случае, жалостью, — ведь он сразу, не дожидаясь зова, пришел к ней на помощь, он лично вмешался в ее познавательно-любственное единоборство с материей, создав из материи смертный мир форм, чтобы они доставляли наслаждение душе, а при таком поведении бога границу между симпатией и жалостью провести и впрямь очень трудно или даже вообще невозможно.

Говорить о грехе, подразумевая под грехом неуважение к богу и выраженной им воле, в данном случае не вполне правомерно, особенно если учесть своеобразное пристрастие бога к племени, возникшему благодаря совоплощению души с материей, к человеческому роду, с самого начала явно, и притом не без основания, вызывавшему ревность ангелов. На Иосифа производили глубокое впечатление рассказы старого Елиезера об этих отношениях, а старик говорил о них примерно то же, что мы и сегодня можем прочесть в древнееврейских комментариях к первобытной истории. Если бы, сказано там, бог мудро не умолчал о том, что в роду человеческом будут не только праведники, но и носители зла, царство строгости никогда не допустило бы сотворения человека. Эти слова проливают свет на многое. Прежде всего, они показывают, что «строгость» присуща не столько богу, сколько его окружению, от которого он,

конечно, не в решающей мере, но все же до некоторой степени зависит, если, опасаясь препятствий с этой стороны, не сказал о своей затее всей правды, а кое-что предал огласке и кое-что скрыл. Но не указывает ли это скорее на то, что сотворение мира отвечало его желанию, чем на то, что оно произошло вопреки его воле? Значит, хотя и нельзя сказать, что бог прямо-таки толкнул душу на ее авантюру, действовала душа все же не наперекор ему, а лишь наперекор ангелам, которые с самого начала относятся к человеку недружелюбно. То, что бог сотворил этот мир добра и зла и принимает участие в нем, представляется ангелам барской причудой и вызывает у них обиду, так как они – и, наверно, не без основания – подозревают, что богу просто наскучила их величальная чистота. Изумленные, полные упрека вопросы, вроде: «Что есть человек, господи, и какой тебе от него прок?» – не сходят у них с языка, и бог отвечает ангелам осторожно, уклончиво, примирительно, но иногда вдруг раздраженно и в явно оскорбительном для них смысле. Не так-то просто, конечно, объяснить низвержение Семаила, очень важного лица среди ангелов, судя по тому, что у него было двенадцать пар крыльев, а у священных животных и у серафимов всего по шести, но между его падением и этими разногласиями существует прямая связь, как явствовало из уроков Елиезера, которым напряженно внимал Иосиф. Именно Семаил всегда подзуживал ангелов против человека или, вернее, против того пристрастия, какое бог питал к человеку; и когда однажды господь повелел рати небесной поклониться Адаму за его разум и за то, что он назвал вещи их именами, все, хоть и пряча усмешку или насупив брови, повиновались этому приказу, и только Семаил его ослушался. С безумной откровенностью он заявил, что это нелепость, что незачем сотворенным из сияния славы божией падать ниц перед тем, кто создан из праха земного, – и тут-то как раз он и был низвергнут, что, по описанию Елиезера, издали походило на паденье звезды. Хотя остальные ангелы, разумеется, испугались и с тех пор зарубили себе на носу, что с человеком нужно держаться крайне осторожно, все-таки совершенно ясно, что всякое усиление греховности на земле, такое, например, как перед потопом или в Содоме и Гоморре, – это очередное торжество для святой рати и очередная задача для творца, который вынужден в таких случаях производить ужасную чистку – не столько по собственному почину, сколько под моральным давлением небес. Но если все эти догадки справедливы, как же обстоит дело с задачей «второго посланца», духа? Действительно ли он послан затем, чтобы уничтожить материальный мир, освободив из его плена душу и вернув ее в родные пределы?

Можно предположить, что это не входит в замысел бога и что на самом деле, вопреки своей славе, дух был послан к душе вовсе не для того, чтобы стать могильщиком мира форм, созданного ею при дружественном пособничестве бога. Тайна тут, возможно, другая, и ключ к ней, возможно, дают слова учения о том, что второй посланец – это все тот же посланный прежде на борьбу со злом светочеловек. Мы давно знаем, что тайна вольно обращается с грамматическими временами и вполне может употребить прошедшее, имея в виду будущее. Слова о том, что душа и дух были едины, возможно, должны означать, что некогда они *будут* едины. Да, это тем более вероятно, что дух сам по себе представляет собой в основном принцип будущего, утверждение «будет», «должно быть», меж тем как душа, находясь в плену форм, благочестиво верна прошлому, священному «было». Где тут жизнь и где смерть, трудно сказать; обе стороны – и слившаяся с природой душа, и находящийся вне мира дух, принцип прошлого и принцип будущего, – обе стороны, каждая по-своему, претендуют на звание живой воды и обвиняют друг друга в содействии смерти – и обе правы, потому что ни природу без духа, ни дух без природы, пожалуй, не назовешь жизнью. Тайна же и тихая надежда бога состоит, вероятно, в их слиянье, в настоящем приходе духа в мир души, во взаимопроникновение обоих начал, в том, что они, оставив друг друга, станут человечеством, благословенным свыше благословением неба и снизу благословением бездны.

Вот, быть может, каков тайный, сокровеннейший смысл этого учения, – хотя сомнительно, чтобы уже известное нам, самоотверженно-угодливое поведение духа, вызванное чрез-

мерной его чувствительностью к упреку в служении смерти, было верным путем к вышеописанной цели. Сколько бы дух ни старался наделить немую страсть души своим остроумием, чтя могилы, называя прошлое единственным источником жизни, а себя самого выставляя злодеем-фанатиком, губительно притесняющим жизнь, – кем бы он ни прикидывался, он все равно остается самим собой: напоминающим гонцом, тем принципом осуждения, противоречия, непоседливости, что, выбрав среди довольных и убаженных кого-то одного, родит в его груди тревогу сверхъестественно огромной беды, гонит его из ворот состоявшегося и данного в авантюрно-неведомое и уподобляет камню, который, покотившись, кладет начало необозримому множеству перемен и свершений.

10

Так образуются те самые глубинные пласты прошлого, откуда смело можно начинать частную историю, как начинал свою от города Ура и от ухода пращура Иосиф. Традиция духовного беспокойства, – она была у Иосифа в крови, это она определяла близкую ему жизнь, мир и поступки его отца, и это ее узнавал он, когда бормотал стихи клинописной поэмы:

Ты почему вселил в Гильгамеша тревогу.
Сына зачем наделил ты душой мятежной?

Незнание покоя, пытливость, настороженность искателя, радение о боге, горькое, полное сомнений раздумье об истинном и праведном, о началах и концах, о собственном имени, о собственной сущности, о подлинной воле всевышнего – как отражалось все это, унаследованное через поколения от урского странника, на высоколобом стариковском лице Иакова и в тревожно-задумчивом взгляде карих его глаз и как любил Иосиф этот душевный склад, исполненный сознания своей благородной недюжинности и который как раз благодаря этой, гордившейся собой высшей тревоге, придавал отцу неотъемлемую от его облика степенность, внушительность и торжественность! Неутомимость и достоинство – это печать духа, и без робости, с детской доверчивостью узнавал Иосиф на челе своего повелителя и отца наследственный этот чекан, хотя сам обладал более веселым и беспечным нравом, унаследованным, скорее, от его прелестной матери, и по природной своей общительности был более словоохотлив и говорлив. Да и отчего ему было робеть перед своим задумчивым и озабоченным отцом, если он знал, что тот горячо его любит? Привычка быть любимым и получать предпочтение определила характер Иосифа и стала его натурой; она определила и его отношение ко всевышнему, которого, если только дозволено было приписывать богу какой-то образ, Иосиф представлял себе в точности таким же, как Иаков, видя в нем, так сказать, высшее повторенье отца и будучи искренне убежден, что бог любит его, Иосифа, так же горячо, как отец. Забегая вперед, назовем его отношение к Адону неба отношением невесты – по аналогии с посвятившими себя Иштар или Милитте вавилонскими женщинами, о которых Иосиф знал, что они давали обет безбрачия, жили в кельях при храмах и назывались «чистыми» или «святыми», а также «невестами бога», «эниту». В его мироощущении было что-то от этих эниту, какая-то строгость, какое-то сознание своей обрученности, и еще, в связи с этим, какое-то игривое фантазерство, – оно еще задаст нам, когда мы спустимся к Иосифу, немало хлопот, – представлявшее собой, вероятно, форму, в которой проявилось наследие духа в его случае.

Однако, при всей своей привязанности к Иакову, он не вполне понимал и одобрял форму, какую оно приняло в случае отца: озабоченность, тоску, нервозность, проявлявшиеся в непреодолимой неприязни к фундаментально-оседлому быту, который, казалось бы, подходил его степенности, в его всегда лишь временном, походно-бивачном и полубездомном укладе жизни. Ведь и отца он тоже, несомненно, любил, о нем он тоже заботился и если оказывал предпочте-

ные – больше того, если он покровительствовал Иосифу, то делал это безусловно прежде всего ради отца. Бог Шаддаи обогатил Иакова в Месопотамии скотом и всяким добром, – и, окруженный сыновьями, женами, пастухами, рабами, тот мог бы быть князем среди князей страны, да и был им, был не только по внешнему своему весу, но и по богатству духа, как «наби», то есть «глашатай», как вещий, сведущий в божьей мудрости, как один из тех старцев и духовных вождей, к кому перешло наследие халдеянина и кого каждый раз принимали за его телесных потомков. При переговорах и заключении торговых сделок с ним объяснялись не иначе как в самых изысканных и кудрявых оборотах речи, называя его «господин мой» и говоря о себе лишь в самых уничижительных выражениях. Почему он не жил со своими домашними как состоятельный горожанин в самом Хевроне, в Урусалиме или в Сихеме, в прочном доме из камня и дерева, в доме, под которым он мог бы хоронить своих мертвецов? Почему, словно измаильтянин и бедуин пустыни, раскинул он свои шатры вне города, на вольном просторе, так что не видел даже крепостных стен Кириаф-Арбы, почему он раскинул их возле колодца, пещерных могил, дубов и скипидарных деревьев, готовый сняться с места когда угодно, как будто не смел осесть и пустить корни, как все, а должен был с часу на час ждать знака, который заставит его разобрать хижины и стойла, навьючить на верблюдов шесты, войлок и шкуры и двинуться дальше? Иосиф, конечно, знал почему. Так жил отец потому, что служил богу, далекому от покоя и житейских удобств, богу помыслов о грядущем, богу, чья воля требовала становления каких-то неясных, но великих и многообещающих дел, который и сам-то вместе со своей волей и вынашиваемыми замыслами находился еще в становление и был поэтому богом беспокойства, хлопотным богом: он хотел, чтобы его искали, и ради него всегда приходилось быть свободным, подвижным и начеку.

Короче говоря, это дух возвышающий, но и унижающий дух запрещал Иакову жить оседлой городской жизнью, и если маленький Иосиф, отнюдь не равнодушный ко всякой светской представительности и даже пышности, об этом порой сожалел, то таков уж был его нрав, а с некоторыми свойствами его нрава нас примиряют другие свойства. Что же касается нас, приступающих к рассказу обо всем этом и, значит, без внешнего принуждения бросающихся в очень рискованное дело (слово «бросающихся» употреблено здесь в прямом смысле и показывает направление), то мы не станем скрывать своего органического и безоговорочного сочувствия беспокойной враждебности старика к идее пребывания на одном месте, долговременной остановки. Разве не знакомо такое и нам? Разве и нам не суждена неугомонность, не дано сердце, не знающее покоя? Светило повествователя – разве это не Луна, владыка дороги, путник, идущий от стоянки к стоянке? Кто повествует, тот с приключениями добирается и до стоянок; но там он делает лишь короткий привал, дожидаясь нового путеводного указания, и вскоре уже вновь колотится его сердце, колотится и от любопытства, и от испуга, от плотского страха, но, во всяком случае, в знак того, что вот и опять пора в путь-дорогу, на новые приключения, которые предстоит пережить во всех их неисчислимых подробностях, ибо такова воля беспокойного духа.

Мы уже давно в пути, и уже далеко позади стоянка, где мы ненадолго замешкались, мы уже забыли ее, мы уже издали, по обычаю путешественников, завязали отношения с ожидаемым нами и ожидающим нас миром, чтобы, оказавшись там, не чувствовать себя в нем совсем чужими, растерянными и беспомощными. Оно уже затянулось, наше путешествие, правда? Не диво, ибо на сей раз это путешествие в ад! В глубокое, очень глубокое жерло спустимся мы, бледнея, в бездонный и непроглядный колодец прошлого.

Отчего мы бледнеем? Отчего у нас колотится сердце, и колотится-то не с тех пор, как мы тронулись в путь, а с первого же путеводного указания, и не только от любопытства, но и, куда сильнее, от плотского страха? Разве минувшее не родная стихия рассказчика, разве прошедшее время глагола для него не то же, что для рыбы вода? Да, все это так, но почему наше любопытно-трусливое сердце не успокаивается от этого резона? Потому, наверно, что

та стихия минувшего, к которой мы привыкли и которая нас так далеко, так весьма далеко уносила, отличается от того прошлого, в какое мы сейчас дрожа погружаемся, – от прошлого жизни, от исчезнувшего, умершего мира, куда и наша жизнь будет уходить все глубже и глубже и куда уже довольно глубоко уходят ее начала. Умереть – это значит, конечно, утратить время и выйти из времени, но это значит обрести взамен вечность и вездесущность, то есть действительно жизнь. Ибо суть жизни – настоящее, и только в мифическом преломлении тайна ее предстает в прошедшем и будущем временах. Это как бы популярная форма самораскрытия жизни, а тайна ее принадлежит посвященным. Пускай твердят народу, что душа странствует. Знатоку известно, что это учение есть лишь одежда, в которую облачена тайна вездесущности души, и что душе принадлежит вся жизнь, когда смерть прекращает ее, души, одиночное заключение. Мы причащаемся смерти и познанию смерти, отправляясь в прошлое на правах авантюристов-повествователей, и отсюда наше любопытство и наша испуганная бледность. Но любопытство сильнее, и мы не отрицаем, что идет оно от плоти, ибо предмет его – альфа и омега всех наших речей и вопросов, всех наших интересов – человек, которого мы ищем в преисподней и в смерти, как искала там Иштар Таммуза, а Исет – Усири, ищем, чтобы познать его там, где находится минувшее.

Ибо оно есть, есть всегда, хотя народ и пользуется словом «было». Так говорит миф, а миф только одежда тайны, но торжественный ее наряд – это праздник, который, повторяясь, расширяет значения грамматических времен и делает для народа сегодняшним и бывшее, и будущее. Удивительно ли, что на празднике люди всегда распускались и по скрепленному обычаем праву доходили до непотребства, если тут происходит взаимопознание смерти и жизни?..

Праздник повествования, ты торжественный наряд тайны жизни, ибо ты делаешь вне-временность доступной народу и заклинаешь миф, чтобы он протекал вот сейчас и вот здесь. Праздник смерти, сошествие в ад, ты поистине праздник и утеха облеченной плотью души, которая недаром тяготеет к прошлому, к могилам и к благочестивому «было». Но да пребудет с тобой, да войдет в тебя также и дух, чтобы ты был благословен благословениями небесными свыше и благословениями бездны, лежащей долу!

Итак, без боязни вниз! Разве мы собираемся прыгнуть напрапалую в колодец? Отнюдь нет. Мы спустимся чуть глубже, чем на три тысячи лет, – а что это по сравнению с бездонностью времени? Там у людей нет ни глаз на лбу, ни рогов, и они не сражаются с летающими ящерами: это такие же люди, как мы, если не считать некоторой мечтательной неточности их мышления, а ее им легко можно простить. Так, бывает, подбадривает себя тяжелый на подъем человек, у которого начинаются озноб и сердцебиенье, когда приходит пора отправляться в задуманную поездку. В конце концов, говорит он себе, разве я собрался на край света, в неведомые места? Ничего подобного, я еду туда-то и туда-то, где уже многие побывали, да и езды-то туда всего день или два. То же самое можно сказать и о стране, что нас ожидает. Добро бы это была страна, где растет перец, страна Га-га, такая диковинная, что за голову схватишься от изумления! Так нет же, это страна как страна, средиземноморская, не то чтоб уж очень похожая на родные наши места, немного пыльная и каменистая, но совсем не сумасшедшая, и над ней ходят знакомые нам звезды. Так, с горами и долами, с городами, дорогами и холмами виноградников, со своей рекой, хмуро и торопливо бегущей в зеленых рощах, она простирается в прошлом, как луга из сказки о волшебном колодце. Откройте глаза, если вы зажмурились перед спуском! Мы на месте. Вот они, глядите, – резкие лунные тени на мирных холмах! Вот она, ощутите, мягкая свежесть по-летнему звездной весенней ночи!

Былое Иакова

Раздел первый У колодца

ИШТАР

То было за холмами к северу от Хеврона, немного на восток от дороги, что шла из Урусалима, в месяце адаре, лунным весенним вечером, до того светлым, что можно было читать без огня и каждый лист, каждый похожий на кисть цветок одиноко стоявшего здесь теребинта, дерева старого и кряжистого, невысокого, но развесистого, вырисовывался донельзя четко, хотя в то же время и расплывался в мерцающем свете. Прекрасное это дерево было священным; получить в тени его наставление можно было по-разному: либо из уст человеческих (кто хотел поделиться какими-либо соображениями о божественном, собирал слушателей под его ветвями), либо на более высокий лад. Не раз, например, сподоблялись во сне совета и вразумления те, кто засыпал, склонив голову к его стволу, а всесождения, которые, судя по каменному, с почерневшей плитой, жертвеннику, где, слегка курясь, теплился огонь, совершались у подножья старого теребинта, пользовались особым вниманием, что подтверждалось поведением дыма, многозначительным полетом птиц и даже небесными знаменьями.

Поблизости были еще деревья, хотя и не такие достопочтенные, как это, стоявшее особняком: и той же породы, и крупнолиственные смоковницы, и скальные дубы, пускавшие в утоптанную землю ростки из стволов, вечнозеленые, промежуточные между хвойными и лиственными деревья, ветви которых, выбеленные луной, свисали колкими опахалами. За деревьями, к югу, по направлению к закрывавшему город холму и немного дальше по его склону находились хижины и стойла, и в ночной тишине оттуда порой доносились глухое мычанье коровы, фыркание верблюда или надсадные стоны осла. А на север вид был открыт, и сразу же за поросшей мохом оградой, сложенной из двух слоев почти неотесанных камней и уподоблявшей место вокруг священного дерева небольшой, с низкими перилами террасе, до самого горизонта, волнисто очерченного отлогими холмами, в сиянье уже высокого и на три четверти полного светила, простиралась равнина – ближе вся в масличных деревьях и кустах тамариска, изрезанная проселками, а дальше сплошь голые выгоны, где виднелись огни пастушеских костров. На каменном парапете цвели цикламены, краски которых, лиловая и розовая, блекли от лунного света, во мху и в траве под деревьями – белые крокусы и красные анемоны. Пахло цветами и пряными травами, влажными испарениями деревьев, дровяным дымом, навозом.

Небо было прекрасно. Широкий венец окружал Луну, свет которой при всей своей мягкости был так силен, что глядеть на нее было почти больно, и щедрым посевом рассыпались по ясному небосводу звезды, то реже, то гуще роясь мерцающими скоплениями. Ярko, живым голубоватым огнем, лучистым самоцветом сверкал на юго-западе Сириус-Нинурту, составлявший, казалось, одну фигуру с Прокионом Малого Пса, находившимся несколько южнее и выше. Царь Мардук, который взошел вскоре после захода Солнца и собирался светить всю ночь, мог бы сравниться с Нинурту в великолепии, если бы его блеска не затмевала Луна. Неподалеку от зенита, чуть юго-восточнее, горел Нергал, семиименный враг, приносящий чуму и смерть эламитянин, которого мы называем Марсом. Но Сатурн, любящий постоянство и справедливость, поднялся над горизонтом раньше, чем он, и блистал южнее, в полуденном круге. Клонясь к западу красной звездой главного своего светоча, красовался знакомыми глазу очер-

таньями Орион, тоже препоясанный и вооруженный на славу ловец. Там же, только южнее, парил Голубь. Регул в созвездии Льва посылал привет из зенита, к которому уже поднялась воловья упряжка Колесницы, тогда как желто-красный Арктур Волопаса стоял еще низко на северо-востоке, а желтое светило Козы с созвездьем Возничего село уже в вечерне-полуночной стороне. Но всех прекраснее, ярче всех предвестников и всей рати кокабимов была Иштар, сестра, супруга и мать, Астарта, идущая за Солнцем царица, низко на западе. Она серебрилась, испускала улетающие лучи, сверкала вспышками, и продолговатое пламя, подобное острию копья, словно бы устремлялось из нее вверх.

СЛАВА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Были глаза здесь достаточно наметанные, чтобы все это различать и с толком разглядывать, темные, направленные к небу глаза, в которых отражалось все это многообразное сияние. Они скользили по валу зодиака, прочной плотины, смиряющей небесные волны, валу, где бодрствовали определители времени; по священным знакам, которые после кратких сумерек этих широт показывались один за другим, начиная с Тельца: когда жили эти глаза, солнце в начале весны стояло под знаком Овна, и потому это созвездие ушло в бездну с ним вместе. Они улыбнулись, сведущие эти глаза, Близнецам, спускавшимся с высоты на вечер; они покоились на восток и отыскивали колос в руке Девы, но возвратились в световые пределы Луны и к ее серебряному, мерцающему щиту, неодолимо притягиваемые чистым и мягким его блеском.

Они принадлежали юноше, сидевшему на краю каменного, со сводчатым навесом, колодца, который, неподалеку от священного дерева, открывал свою влажную глубину. К жерлу его поднимались круглые, выщербленные ступени, и на них покоились босые ноги молодого человека, мокрые, как и сами ступени по эту сторону, где с них капала пролитая вода. Сбоку, где было сухо, лежали его верхнее платье, желтое, с широким красно-бурым узором, и его воловьей кожи сандалии, почти башмаки, так как они имели откидные стенки, охватывавшие пятки и щиколотки. Широкие рукава спущенной своей рубахи из беленого, но по-сельски грубого полотна юноша обмотал вокруг бедер, и смуглая кожа его туловища, казавшегося, по сравнению с детской еще головкой, тяжеловатым и полноватым, его по-египетски высокие и лежесные плечи маслено лоснились при свете луны. Ибо после омовенья очень холодной колодезной водой, многократных, совершенных с помощью ведра и ковши, обливаний, которые после знойного уже дня были одновременно удовольствием и соблюдением религиозного предписания, мальчик умастил свою кожу смешанным с благовониями оливковым маслом из тускло поблескивавшей рядом с ним склянки, не сняв с себя при этом ни редко сплетенного миртового венка, который он носил в волосах, ни амулета, что свисал у него на бронзовой цепочке с шеи на грудь – ладанки с отворотными корешками.

Сейчас он, казалось, совершал молитву, ибо с обращенным к Луне и залитым ее светом лицом, прижав к бокам локти, подняв к небу руки ладонями вверх и слегка раскачиваясь, вполголоса нараспев произносил одними губами не то слова, не то просто звуки... На левой руке у него было синее фаянсовое кольцо, а ногти его на руках и ногах носили кирпично-красные следы хны, которой он, как щеголь, окрасил их, должно быть, по случаю своего участия в последнем городском празднике, чтобы понравиться сидевшим на крышах женщинам, – хотя вполне мог бы пренебречь такими косметическими ухищрениями и положиться на дарованное ему богом хорошенькое личико, которое, при детской еще округлости, было и в самом деле, главным образом благодаря доброму выражению черных, немного раскосых глаз, весьма привлекательно. Красивые люди считают нужным усиливать естественную красоту и «прихорашиваться», вероятно, из какого-то послушания отрадному своему жребию, в каком-то служенье природному своему дару, и служенью этому нельзя отказать в благочестии, а значит, и в правомерности, тогда как расфуфыренный урод – зрелище грустное и нелепое. К тому же

ведь красота никогда не бывает совершенна, и как раз поэтому она склонна к тщеславию; она стыдится того, чего ей недостает, чтобы достичь идеала, ею же установленного, – а это стыд ложный, потому что тайна ее, собственно, и состоит в притягательности несовершенства.

Вокруг молодого человека, которого мы сейчас видим воочию, молва и сказание создали настоящий ореол славы неповторимо прекрасного юноши, и подлинный его облик дает нам некоторый повод слегка удивиться этой славе – хотя неверные чары лунной ночи скорее подкрепляют ее лукавым обманом. Какая только хвала не воздавалась по прошествии многих дней его внешности в песнях и легендах, в апокрифах и псевдоэпиграфах, хвала, способная вызвать у нас, видящих его собственными глазами, только улыбку! Что лицо его могло посрамить красоту солнца и луны – это еще самое скромное из таких славословий. В одном из текстов сказано буквально, что он должен был прятать под покрывалом щеки и лоб, чтобы сердца людей не сожгли землю, воспылав любовью к посланцу бога, и что те, кому случалось увидеть его без покрывала, «погружались в блаженное созерцание» и уже не узнавали этого мальчика. Восточное предание, не обинуясь, утверждает, что половина всей имеющейся на свете красоты досталась этому юноше, а уж другая половина разделена между остальным человечеством. Один особенно авторитетный персидский певец побивает этот образ прихотливой картиной монеты весом в шесть лотов, в которую могла бы слиться вся красота нашего мира: тогда пять из них, фантазирует поэт, пришлось бы на долю этого несравненного красавца.

Такая слава, кичливая и не знающая меры, потому что уже не рассчитывает на то, что ее подвергнут проверке, в какой-то степени смущает и подкупает видящего, мешая ему трезво рассмотреть факты. Есть много примеров гипнотизирующего действия чрезмерно высокой, но уже общепринятой оценки, которую каждый усваивает с какой-то слепой и даже безумной готовностью. Лет за двадцать до той поры, где мы сейчас находимся, в Месопотамии, в округе Харрана, один очень близкий этому юноше человек разводил и продавал, как мы еще услышим, овец, и слава его овец была такова, что люди платили ему за них поистине бешеные деньги, хотя было совершенно очевидно, что дело шло вовсе не о небесных, а о самых простых и обыкновенных, если даже и превосходных овцах. Такова сила человеческой потребности в подчиненье! Но, не позволяя позднейшей славе исказить то, что мы в состоянии сравнить с реальной действительностью, мы не должны впадать и в противоположную крайность, не должны быть слишком придирчивы. Такой посмертный энтузиазм, как тот, что угрожает сейчас трезвости нашей оценки, конечно, не возникает на голом месте; он уходит своими корнями в действительность и, по достоверным сведениям, в большой мере был выказан уже живому. Чтобы это понять, нужно прежде всего учесть какой-то арабский неясный нам вкус, стать на ту эстетическую точку зрения, – а она практически и была определяющей, – с которой наш мальчик действительно казался настолько красивым, настолько прекрасным, что с первого взгляда его часто принимали чуть ли не за бога.

Итак, будем осторожны в словах и, не склоняясь ни к безвольной покорности молве, ни к чрезмерному критицизму, скажем, что лицо сидевшего у колодца и глядевшего на луну молодого мечтателя было приятно даже своими неправильностями. Например, ноздри его довольно короткого и очень прямого носа были слишком широки; но от этого крылья носа казались раздутыми, что придавало его лицу какое-то живое, взволнованное и неуловимо гордое выражение, хорошо сочетавшееся с приветливостью его глаз. Не станем порицать выражения надменной чувственности, которым он был обязан толстым губам. Оно бывает обманчиво, а кроме того, как раз говоря о форме губ, мы должны сохранять угол зрения тех стран и людей. Зато мы были бы вправе назвать часть лица между ртом и носом слишком одутловатой – если бы именно это не сообщало особого обаяния уголкам рта, в которых от одного лишь смыкания губ, без всякого напряжения мышц, появлялась спокойная улыбка. Лоб в нижней своей половине, над широкими, красивого рисунка бровями, был гладок, но выпукло выдавался выше, под густыми, черными, забранными светлой кожаной повязкой и вдобавок украшенными мир-

товым венком волосами, падавшими копной на затылок, но не закрывавшими ушей, которые можно было бы назвать хорошо вылепленными, если бы не чересчур мясистые мочки, явно растянутые непомерно большими серебряными серьгами, продетыми в них еще в детстве.

Молился ли юноша в самом деле? Но для этого поза его была слишком удобна. Ему следовало бы стоять. Его бормотанье и однозвучное, вполголоса, пение с поднятыми руками походили, скорее, на самозабвенную беседу, на тихий разговор с тем высоким светилом, к которому он обращался. Раскачиваясь, он лопотал:

– Аву... Хамму... Аоф... Аваоф... Авирам... Хаам... ми... ра... ам...

В этой импровизации смешивались самые разнообразные области и понятия, ибо если он говорил сейчас Луне вавилонские нежности, называя ее «аву» – отец, и «хамму» – дядя, то в то же время в речь его вкрадывалось имя Аврама, его истинного и мнимого предка, и, как расширенный вариант этого имени, другое, почтительно сохраненное преданием, легендарное имя законодателя – Хамму-раби, означающее: «Мой божественный дядя величествен», а кроме того, еще междометия, которые, неся в себе понятие отца, выходили из круга свойственного прародительскому Востоку звездопоклонства и семейных воспоминаний и с запинками примерялись к тому новому, что свято вынашивалось, творилось и постигалось духом его близких.

– Яо... Аоф... Аваоф, – звучал его напев. – Ягу, Ягу! Я-а-ве-илу, Я-а-ум-илу...

И когда он так, подняв руки, раскачиваясь, кивая головой и любовно улыбаясь светящей Луне, в одиночестве пел, глядеть на него было странно и чуть ли не страшно. Занятие это, чем бы оно ни было: молитвой, лирической беседой или еще чем-то, – явно увлекало его, и при виде забытья, в которое он все полнее впадал, становилось не по себе. Участие голоса в его пенье было невелико, да и не могло быть большим. Он был незрелым и ломким, этот еще резкий, полудетский, по-юношески неполнозвучный голос. Но вдруг голос у него и вовсе пропал, сорвался неожиданно и судорожно; слова «Ягу, Ягу!» были произнесены задышающимся шепотом, при совершенно пустых легких, которые юноша забыл наполнить воздухом, отчего сразу преобразился внешне: запала грудь, ходуном заходила брюшная мышца, съежились затылок и плечи, задрожали руки, выступили узлы плечевых мышц, и мгновенно закатились глаза – пустые белки жутковато сверкнули на лунном свете.

Надо сказать, что такой непорядок в поведении этого мальчика удивил бы любого. Его приступ, или как там это назвать, воспринимался как неожиданность, как тревожный сюрприз, он совершенно не вязался с тем убедительным впечатленьем приветливой разумности, которое приятная, разве только чуть фатоватая внешность мальчика производила с первого взгляда. Если все это не было шуткой, то впору было спросить, на ком лежала забота о его душе, ибо в этом случае душа его, может быть, и сподобилась призвания свыше, но, несомненно, находилась в опасности. Если же все это было просто баловством и капризом, то и тогда поводов для опасенья оставалось достаточно, – а что доля игры тут безусловно была, явствовало из поведения нашего юного лунолюба при вот каких обстоятельствах.

ОТЕЦ

Со стороны холма и жилищ донеслось его имя: «Иосиф! Иосиф!», донеслось дважды и трижды, каждый раз с меньшего расстоянья. Он услышал этот зов на третий раз, во всяком случае только на третий раз признал, что слышит его, и, быстро опомнившись, пробормотал: «Вот я». Глаза его вернулись, он опустил руки и голову и застенчиво улыбнулся, прижав подбородок к груди. Это был мягкий и, как всегда полный чувств, слегка жалующийся голос отца. Он звучал уже совсем рядом. Отец повторил, хотя уже увидел сына у колодца: «Иосиф, где ты?»

Так как на нем было длинное платье и еще потому, что неверность и призрачная ясность лунного света способствуют преувеличенным представлениям, Иаков – или Иаков бен Ицхак,

как он подписывался, – казался человеком величественного, чуть ли не сверхъестественного роста, когда стоял между колодцем и деревом наставленья, ближе к дереву, испещрившему его одежды тенями своих листьев. Еще большую внушительность – то ли сознательно, то ли безотчетно – приобретал он благодаря своей позе: он опирался на длинный посох, обхватив его пальцами очень высоко, отчего просторный рукав его крупноборчатой, в узкую бледную полосу, верхней одежды, плаща из подобия шерстяного муслина, сполз с поднятой выше головы, уже стариковской руки, украшенной на запястье медным браслетом. Предпочтенному близнецу Исава было тогда шестьдесят семь лет. Его борода, негустая, но длинная и широкая, сливаясь с волосами головы у висков, торчала на щеках тонкими прядями и падала на грудь во всю ее ширину; нестриженная, незавитая, никак не причесанная и не приглаженная, она серебрилась на лунном свету. Узкие губы были видны в ней. Глубокие морщины уходили в бороду от крыльев тонкого носа. Глаза, глядевшие из-под куколя темно-узорчатой ханаанской ткани, который, закрывая наполовину лоб, падал на грудь складками и был переброшен через плечо – маленькие, карие, блестящие глаза, с дряблыми, в прожилках, нижними веками, вообще-то уже ослабевшие от старости и зоркие только душевной зоркостью, озабоченно следили за мальчиком у колодца. Подобравшийся и распахнувшийся из-за поднятых рук плащ открывал одеянье из крашеной козьей шерсти, край которого, с длинной бахромой, доставал до носков матерчатых туфель, косо спускаясь к ним слоями складок, создававшими впечатление нескольких, выглядывающих один из-под другого нарядов. Одет старик был, таким образом, плотно и основательно, хотя довольно прихотливо и неоднородно: черты восточной культуры сочетались в его платье с признаками, свойственными скорее измаильянско-бедуинскому быту и миру пустыни.

На последний оклик Иосиф по праву не отозвался, поскольку вопрос был задан явно после того, как отец заметил его. Мальчик ограничился улыбкой, которая разомкнула его полные губы и показала блеск зубов – очень белых, какими всегда кажутся зубы при смуглом лице, но не частых, а с просветами, – и прибавил к улыбке обычные приветственные телодвиженья. Он снова поднял руки, как прежде – к луне, покачал головой и, в знак восторга и восхищенья, прищелкнул языком. Затем коснулся рукою лба, чтобы, выпрямив пальцы, опустить ее оттуда к земле, изящным и округлым движеньем; полузакрыв глаза и запрокинув голову, прижал обе ладони к сердцу, после чего, не разнимая рук, несколько раз протянул их к старику и снова приложил к сердцу, словно отдавая его отцу. Не преминул он указать пальцами и на свои глаза, а также коснуться ими колен, темени и ступней, каждый раз повторяя благоговейно-приветственное движение рук. Все это было красивой игрой, которая исполнялась, как того требовали правила хорошего воспитания, непринужденно и заученно, но в то же время с особой ловкостью и грациозностью – в них сказывался услужливый, приветливый нрав – и с неподдельным чувством. Эта задушевная, благодаря сопровождавшей ее улыбке, игра была пантомимой благочестивой покорности родителю и господину, главе рода, но оживлялась искренней радостью по поводу того, что представился случай почтить отца. Иосиф знал, что отец не всегда играл в жизни героическую и полную достоинства роль. Его тягу к величественности в речах и поведении посрамляла порой кроткая пугливость его души; он знал часы униженья, бегства, отчаянного страха, такие переделки, в каких его не хотел представлять себе тот, кого он любил, хотя в них-то как раз и проглядывала милость господня. И даже если в улыбке этого любимца и была доля кокетства и победительной самоуверенности, то улыбался он, в общем-то, от радости, которую доставляли ему и приход отца, и прикрасы освещения, и выигрышно-царственная поза старика, опершегося на длинный посох; и в ребяческом этом удовлетворенье проявилась большая слабость к внешней эффектности, независимо от ее подоплеки.

Иаков не сошел с того места, где стоял. Может быть, он заметил и хотел продлить удовольствие сына. Голос его, который мы назвали полным чувств, потому что в нем слышалась дрожь внутренней озабоченности, раздался снова. На этот раз он полувопросительно сказал:

– Дитя сидит у бездны?

Странные слова, они были произнесены неуверенно и как бы в мечтательной оплошности. Они прозвучали так, словно говорящий находит что-то неподобающее или удивительное в том, что в столь юном возрасте человек сидит у какой бы то ни было бездны; словно понятия «дитя» и «бездна» несовместимы. В действительности в этих словах звучало и хотело заявить о себе нянечье, если можно так сказать, опасение, что Иосиф, который в глазах отца был гораздо меньше и ребячливее, чем на самом деле в то время, упадет ненароком в колодезь.

Мальчик улыбнулся еще шире, отчего стало видно еще больше редких его зубов, и кивнул головой вместо ответа. Но он быстро изменил выражение своего лица, ибо второе замечание Иакова прозвучало строже. Тот приказал:

– Прикрой свою наготу!

Подняв и округлив руки, Иосиф оглядел себя с полушутливым смущением, потом поспешно распутал связанные узлом рукава полотняной рубахи и натянул ее на плечи. Теперь и в самом деле могло показаться, что старик держался на некотором расстоянии от сына из-за его наготы, ибо сейчас он подошел ближе. При этом он усиленно опирался на длинный посох, поднимая и опуская его, потому что хромал. Вот уже двенадцать лет, после одного дорожного приключения, которое он претерпел при довольно плачевных обстоятельствах, в пору великого испуга и страха, Иаков хромал на одно бедро.

НЕКТО ИЕВШЕ

Они виделись не так уж давно. Как обычно, Иосиф ужинал в благоухавшем мускусом и миррой шатре отца, с теми своими братьями, точнее сказать – сводными братьями, что как раз находились на месте: другие, присматривая за другими стадами, жили несколько поодаль, на полночь, в долине, на которую глядели горы Гевал и Гаризим, близ одного укрепленного города и священного места, называвшегося Сихем или Шекем, «затылок», а также Мабарфа, то есть «проход». С жителями Шекема Иакова связывали и религиозные дела; ибо хотя почитаемое там божество было разновидностью сирийского овчара и прекрасного владыки Адониса и того изуродованного вопреки цветущего юноши, Таммуза, которого внизу звали Усири, жертвой, но уже очень давно, во времена Авраама и сихемского первосвященника царя Мелхиседека, божество это приобрело особый духовный облик, закрепивший за ним имя Эль-эльон, Баал-берит, то есть Всевышний, Глава завета, Творец и Владыка неба и земли. Такой взгляд казался Иакову правильным и приемлемым, и он был склонен видеть в шекемском растерзанном сыне истинного всевышнего бога, бога Авраама, а в сихемитах – своих единоверцев, тем более что, согласно надежному, переходившему из поколения в поколение преданию, сам первопришелец назвал однажды в разговоре – это была ученая беседа с содомским старостой – познанного им бога Эль-эльон, а значит, отождествил его с Баалом и Адоном Мелхиседека. Сам Иаков, духовный внук первопришельца, много лет назад, возвратясь из Месопотамии и раскинув свой стан перед Сихемом, поставил там жертвенник этому богу. Он построил там также колодезь и купил право выпаса, хорошо заплатив за него шекелями серебра.

Позднее между Сихемом и людьми Иакова пошли нелады, последствия которых оказались ужасны для города. Но мир был восстановлен, и прежние связи возобновились, так что часть скота Иакова всегда паслась на шекемских выгонах, а часть его сыновей и пастухов всегда находилась вдали от лица его из-за этих стад.

В ужине, кроме Иосифа, участвовали два сына Лии, костлявый Иссахар и Завулон, который ни во что не ставил пастушескую жизнь, но и не хотел быть землепашцем, а желал только одного – стать моряком. С тех пор как он побывал на море, в Аскалуне, он не представлял себе ничего более высокого, чем это занятие, и любил рассказывать всякие небылицы о приключениях и о двуполых чудовищах, что жили по ту сторону вод, куда можно было добраться

на корабле: о людях с бычьими или львиными головами, двуглавых, двуликих, у которых были сразу и человеческое лицо, и морда овчарки, так что они попеременно лаяли и разговаривали, о ластоногих и о всяких других диковинках... Еще ужинали в шатре Иакова расторопный Неффалим, сын Валлы, и оба отпрыска Зелфы, прямодушный Гад и Асир, который, как обычно, старался захватить лучшие куски и всем поддакивал. Что касалось единоутробного брата Иосифа, ребенка Вениамина, то он жил еще при женщинах и был слишком мал, чтобы ужинать с гостями; а сегодня в доме был гость.

Человек по имени Иевше, который называл свое место Таанак и рассказывал за едой о голубях тамошнего храма и о рыбах в его прудах, уже несколько дней находившийся в пути с черепком, поскольку таанакский градоправитель Ашират-яшур – его называли царем, но это было преувеличением – сплошь исписал этот черепок посланьем своему «брату», князю Газы, по имени Рифат-Баал; пожелав Рифат-Баалу, чтобы тот был счастлив в жизни и чтобы все сколько-нибудь влиятельные боги дружно воспеклись о его благе, а также о благе его дома и его детей, Ашират-яшур сообщал, что не может послать «брату» леса и денег, которых тот более или менее справедливо от него требует, поелику первого у него нет, а вторые крайне нужны ему самому, но зато посылает ему с Иевше необычайно могущественное глиняное изваяние своей личной и общетаанакской покровительницы, богини Ашеры, дабы таковое принесло ему благодать и помогло преодолеть потребность в деньгах и лесе, – так вот, этот Иевше, человек с козлиной бородкой, от шеи до лодыжек закутанный в яркую шерсть, завернул к Иакову, чтобы узнать его суждения, преломить его хлеб и переночевать у него перед дальнейшим путешествием к морю, а Иаков радушно принял гонца, попросив его только, чтобы изваянье Аштарты, фигурку женщины в шароварах, с венцом и покрывалом, охватившей обеими руками крошечные свои груди, тот держал в некотором отдалении от него, Иакова. Вообще же он встретил гостя без предубеждения, памятуя старинное предание об Аврааме, который в гневе прогнал от себя в пустыню одного дряхлого идолопоклонника, но получил за свою нетерпимость выговор от господ и вернул в свой дом ослепленного старика.

Обслуживаемые двумя рабами в свежестырянных полотняных балахонах, старым Мадаи и молодым Махалиилом, сотрапезники, сидя на подушках вокруг циновки (Иаков твердо держался этого обычая отцов и слышать не хотел о том, чтобы сидеть на стульях, как то было заведено у городской знати по образцу великих царств Востока и Юга), поужинали маслинами, жареным козленком и добрым хлебом кемахом, а запили эту еду отваром из слив и изюма, поданным в медных кружках, и сирийским вином, разлитым в чаши цветного стекла. Хозяин и гость вели рассудительные беседы, к которым, во всяком случае, Иосиф прислушивался очень внимательно, – беседы частного и общественного характера насчет божественных и земных дел, а также по поводу политических слухов; о семейных обстоятельствах Иевше и его служебном положении при Ашират-яшуре, владыке города; о его путешествии, для которого он воспользовался дорогой, идущей через Изреельскую равнину и нагорье, причем по горному водоразделу ехал верхом на осле, а продолжать путь отсюда вниз, к стране филистимлян, намерен был на верблюде, приобретя его завтра в Хевроне; о ценах на скот и на зерно у него на родине; о культе Цветущего Шеста Ашеры Таанакской, и о ее «персте», то есть оракуле, через посредство которого она разрешила отправить в путь одно из своих изваяний в качестве Ашеры Дорожной, чтобы оно уладило сердце Рифат-Баала в Газе; о ее празднике, отмеченном недавно всеобщими, весьма необузданными плясками и съедением огромного количества рыбы, а также тем, что мужчины и женщины поменялись одеждами в знак провозглашенной жрецами двуполости Ашеры, ее причастности и к женской, и к мужской стати. Тут Иаков погладил бороду и перебил гостя несколькими каверзными вопросами: кто защитит место Таанак, куда изваяние Ашеры будет в пути; как понимать отношение путешествующего изваяния к владычице города и не нанесет ли отсутствие части ее естества заметного урона ее могуществу? На это Иевше отвечал, что если бы дело действительно так обстояло, то вряд ли бы перст

Ашеры велел отправить ее в дорогу, и что по учению жрецов вся сила божества заключена в любом его изваянии. Еще Иаков мягко указал на то, что если Аширта является и мужчиной и женщиной, то есть сразу и Баалом и Баалат, и матерью богов, и царем небесным, ее следует приравнять не только к почитаемой в Синеаре Иштар, не только к Исет, почитаемой в нечистой земле Египетской, но также к Шамашу, Шалиму, Адду, Адону, Лахаме и Даму, короче говоря, к владыке мира и высочайшему богу, и получается, что дело идет, в общем-то, об Эль-эльоне, боге Авраама, создателе и отце, а его ни в какое путешествие отправить нельзя, потому что он царит надо всем, и служат ему вовсе не тем, что едят рыбу, а только тем, что живут в чистоте и падают перед ним ниц. Но такое соображение не встретило у Иевше особого сочувствия. Подобно тому как солнце, возразил он, всегда оказывает свое действие через какое-то путеводное светило и в нем предстает, подобно тому как оно уделяет от своего света планетам, а уж они, каждая на свой лад, влияют на судьбы людей, так и божественное начало сказывается в отдельных божествах, среди которых владыка-владычица Ашират, например, являет божественную силу, как известно, в земном плодородье и выходе природы из преисподней, ежегодно превращаясь из сухого шеста в цветущий, а по такому случаю вполне уместны некоторая необузданность в еде и плясках и даже кое-какие иные, связанные с праздником Цветущего Шеста утехы и вольности, поскольку чистота присуща лишь Солнцу и неделимой прабожественности, но отнюдь не ее планетным ипостасям, и четко разграничивая понятия «чистый» и «священный», разум обнаруживает, что священность не связана или не обязательно связана с чистотой... Иаков отвечал на это очень вдумчиво: он, Иаков, не хочет никого обижать, а тем более гостя своей хижины, закадычного друга и посла могущественного царя, порицая взгляды, внушенные тому родителями и писцами таблиц. Но и Солнце – это только творенье Эль-эльона, и как таковое хоть и божественно, но не является богом, что разуму и надлежит различать. Тот не в ладу с разумом и рискует прогневить ревнивого господя, кто поклоняется какому-либо его творению, а не ему самому, и гость Иевше сам расписался в том, что местные боги – это производные бога, – от более обидного обозначения, он, Иаков, из любви к гостю и вежливости воздержится. Если бог, сотворивший Солнце, путеводные знаки, планеты и землю, – бог высочайший, то он также и единственный бог, а о других в этом случае лучше вообще не говорить, не то их пришлось бы обозначить этим нежелательным именем, поскольку понятие «высочайший бог» разум должен приравнять к понятию бога единственного... Вопрос о различье и тождестве этих двух понятий, высочайшего и единственного, вызвал долгие словопрения, которые хозяин готов был вести до бесконечности и, дай ему волю, продолжал бы до полуночи или даже всю ночь. Однако Иевше перевел разговор на дела мира и его царств, на раздоры и происки, о которых он как друг и родственник ханаанского градодержца знал больше, чем обыкновенный человек: речь пошла о том, что на Кипре, который он называл Алашией, свирепствует чума, что она унесла множество людей, но не всех, как то утверждал правитель этого острова в своем письме фараону преисподней, чтобы оправдать почти полное прекращение поставок меди; что царь государства Хетта или Хатти носит имя Шуббилулима и располагает столь большой военной силой, что грозит захватить богов митаннийского царя Тушратты, хотя тот состоит в свойстве с великой фиванской династией; что вавилонский кассит стал как огня бояться ассурского первосвященника, стремящегося выйти из-под власти законодателя и основать на реке Тигре особое государство; что благодаря сирийской контрибуции фараон сильно обогатил жречество своего бога Аммуна и на эти же деньги построил Аммуну новый храм с тысячей колонн и ворот, но что довольно скоро приток этих средств уменьшится, так как города Сирии страдают от опустошительных набегов разбойников-бедуинов, а на севере все шире распространяется хеттская держава, оспаривающая у людей Аммуна господство в Ханаане, и многие аморритские князья поддерживают этих чужеземцев в их борьбе против Аммуна. Тут Иевше подмигнул одним глазом, вероятно, затем, чтобы по-дружески намекнуть слушателям, что и Ашират-яшур не чурается такой политики, но, как только перестали гово-

речь о боге, интерес хозяина к беседе заметно убыл, разговор заглох, и сидевшие поднялись: Иевше – чтобы удостовериться, что с Астартой Дорожной ничего не стряслось, и затем лечь спать; Иаков – чтобы с посохом обойти свой стан, взглянуть на женщин и на скот в стойлах. Что касается его сыновей, то у шатра Иосиф отделился от остальных пятерых, хотя сначала собирался пойти с ними. Прямодушный Гад внезапно сказал ему:

– Убирайся, шалопай и паскудник, ты нам не нужен!

Иосифу не понадобилось долго думать, чтобы ответить:

– Ты похож на бревно, Гад, по которому еще не прошелся струг, и на бодливого козла в стаде. Если я передам твои слова отцу, он накажет тебя. А если я передам их Рувиму, нашему брату, он, по своей справедливости, задаст тебе жару. Но пусть будет так, как ты говоришь: если вы пойдете направо, я пойду налево, и наоборот. Я-то вас люблю, но вам я, увы, внушаю отвращение, а сегодня – особенно, потому что отец подал мне кусок козленка и ласково на меня поглядывал. Поэтому я одобряю твое предложение, чтобы избежать свары и чтобы вы нечаянно не впали во грех. Прощайте!

Гад слушал это с презрительным выражением лица, не поворачивая головы, но все же ему было любопытно, какой сейчас опять найдется у мальчишки ответ. Затем он сделал грубый жест и ушел с остальными, а Иосиф пошел один.

Он совершил небольшую вечернюю прогулку – если только то удрученное состояние, в каком из-за грубости Гада, при всей удовлетворенности удачным своим ответом, находился сейчас Иосиф, позволяет назвать это хождение словом «прогулка», обозначающим нечто все же приятно-увеселительное. Он побрел вверх по холму, по отлогому восточному склону, и, быстро достигнув гребня, откуда открывался вид на юг, увидел слева в долине белый от лунного света город, его толстые стены с четырехгранниками угловых башен и ворот, колоннаду его дворца, окруженный широкой террасой массив его храма. Он любил смотреть на город, где жило так много людей. Смутно видна была отсюда и усыпальница его семьи, купленная некогда по всем правилам Авраамом у хеттеянина Двойная Пещера, где покоился прах предков, прама-тери-вавилонянки и позднейших старейшин: карнизы каменных ворот двойного склепа вырисовывались у обводной стены в левой ее части; и благоговейные чувства, источником которых является смерть, смешались в его сердце с симпатией, которую внушил ему вид многолюдного города. Потом он вернулся, отыскал колодец, освежился, вымылся и умастил свое тело, после чего и начал то несколько вольное заигрывание с луной, за которым застал его озабоченный каждым его шагом отец.

ДОНОСЧИК

Теперь он подошел к нему, старик, положил правую руку ему на голову, взяв посох в левую, и заглянул своими старыми, но пронзительными глазами в прекрасные черные глаза юноши, которые тот сначала поднял к нему, снова блеснув финифтью редких своих зубов, но потом опустил – и просто из почтительности и в то же время из смутного чувства вины, связанного с приказаньем одеться. Он и вправду помешкал с одеваньем не ради приятной воздушной ванны или не только ради нее и подозревал, что отец понял, какие побуждения и представления заставили его приветствовать небеса полуголым. Ему было действительно радостно и заманчиво открыть свою юную наготу луне, с которой он и благодаря гороскопу и по разным другим догадкам и соображениям чувствовал себя связанным, он был убежден, что это ей понравится, и рассчитывал подкупить и расположить к себе этим ее – или высшую силу вообще. Ощущение прохладного света, коснувшегося с вечерним воздухом его плеч, он воспринял как успех ребяческих своих действий, которые нельзя назвать бесстыдными по той причине, что они имели целью жертвоприношение стыдливости. Нужно иметь в виду, что обряд обрезания, перенятый как внешний обычай в царстве Египетском, давно приобрел в роду и кругу Иосифа особый

мистический смысл. Он был установленным по требованию бога бракосочетанием человека с божеством и совершался над той частью плоти, которая представлялась средоточием ее сущности и участвовала во всех связанных с телом обетах. Мужчины часто носили или писали имя бога на своем детородном члене перед совокуплением с женщиной. Союз с богом был половым, он заключался с вождем, стремящимся к безраздельному обладанию творцом и владыкой, а потому усмирять и ослаблял человеческую мужественность, сводя ее к женственности. Кровавый жертвенный обряд обрезания в идее еще ближе к осклоплению, чем физически. Освящение плоти – это символ одновременно девственности и жертвоприношения девственности, то есть начала женского. Кроме того, Иосиф был, как он знал и ото всех слышал, красив и прекрасен, а в сознании своей красоты есть уже и без того что-то женское; и так как «прекрасный» было прилагательным, которое относили обычно прежде всего к луне, луне полной, не затемненной и чистой, так как оно было эпитетом луны, определением из небесной, собственно, сферы и к человеку могло быть отнесено, строго говоря, только метафорически, то для Иосифа понятия «прекрасный» и «нагой» почти сливались, и ему казалось, что он поступает умно и благочестиво, отвечая прекрасной красоте светила собственной наготой, чтобы удовольствие и восхищение были взаимны.

Мы не беремся судить, сколь тесно или сколь отдаленно связана была известная вольность его поведения с этими туманными мыслями. Шли они, во всяком случае, от первоначального смысла культового обнажения, свидетелем которого ему еще то и дело случалось бывать, и как раз потому вызвали у него при виде отца и после отцовского замечания смутное чувство вины. Ибо он любил духовность старика и боялся ее, прекрасно зная, что она отвергает, как греховный, почти весь тот мир представлений, с которым он, Иосиф, пусть только баловства ради, был еще связан, что она проникнута гордым сознанием доавраамовской его отсталости и всегда готова заклеить его словом самого страшного своего осуждения, ужасным словом «идолопоклоннический». Иосиф ждал решительного и резкого выговора такого рода. Но из забот, которые, как всегда, задавал ему этот сын, Иаков выбрал другие. Он начал так:

– Право, было бы лучше, если бы дитя уже сотворило молитву и спало под защитой хижины. Мне неприятно видеть его одного среди ночи, которая становится все более глубокой, и под звездами, которые светят добрым и злым. Почему оно не присоединилось к сыновьям Лии и не пошло туда, куда пошли сыновья Валлы?

Он знал, конечно, почему Иосиф опять этого не сделал, а Иосиф знал, что только озабоченность этими известными обстоятельствами заставила отца задать подобный вопрос. Он отвечал, надув губы:

– К такому уж полюбовному соглашению пришли мы с братьями.

Иаков продолжал:

– Случается, что лев пустыни и тот, что живет в камышах реки, ближе к соленому морю, наведывается сюда, когда бывает голоден, и ищет добычи в загонах, когда его тянет на кровь. Не далее как пять дней назад пастух Альдмодад лежал передо мною на брюхе и признался, что ночью какой-то хищный зверь задрал из молодняка двух ярок и одну уволок, чтобы сожрать. Альдмодад был чист предо мною без клятвы: он представил зарезанную овцу в крови ее, и разуму ясно было, что другую утащил лев, так что урон этот падет на мою голову.

– Он невелик, – польстил отцу Иосиф, – и ничего не значит при том богатстве, каким наделил моего господина в Месопотамии возлюбивший его господь.

Иаков опустил голову и вдобавок склонил ее несколько набок в знак того, что он не кичится благословением, хотя оно дало себя знать не без мудрого содействия с его стороны. Он ответил:

– Кому много было дано, у того может быть и отнято многое. Если господь сделал меня серебряным, то он может сделать меня глиняным и бедным, как выброшенный черепок; ибо прихоть бога могущественна и пути его справедливости нам непонятны. У серебра бледный

свет, – продолжал он, стараясь не смотреть на луну, на которую зато Иосиф сразу же бросил косой взгляд. – Серебро – это печаль, а самый жестокий страх страшщегося – это легкомыслие тех, о ком он печется.

Мальчик сопроводил просительный взгляд утешающим и ласковым жестом, которого Иаков не дал закончить, сказав:

– Подкравшийся лев растерзал ягнят старой матери вон там, на выгоне, в ста шагах отсюда или двухстах. А дитя ночью в одиночестве сидит у колодца, сидит неосторожно, нагое, беспечное, незащищенное, забыв об отце. Разве ты создан для опасности и снаряжен для сражения? Разве ты похож на своих братьев Симеона и Левия, да хранит их бог, которые с криком на устах и с мечом в руках бросаются на врагов и уже сожгли город аморитян? Или ты, как твой дядя Исав, живущий на диком юге в Сеире, степняк и охотник, и у тебя красная кожа, и ты космат, как козел? Нет, ты благочестивое дитя хижины, ибо ты плоть от плоти моей, и когда Исав подходил к броду с четырьмя сотнями человек и душа моя не знала, чем все это кончится перед господом, впереди я поставил служанок с детьми их, твоими братьями, за ними Лию с ее сыновьями, а тебя – тебя я поставил позади всех вместе с Рахилью, твоею матерью...

Глаза его были уже полны слез. Имя жены, которую он любил больше всех на свете, Иаков не мог произнести без слез, хотя прошло уже восемь лет с тех пор, как ее непонятным образом отнял у него бог, и голос его, и так-то всегда взволнованный, всхлипнул и задрожал.

Юноша протянул к нему руки, а потом поднес сложенные ладони к губам.

– Ах, как напрасно, – сказал он с нежным упреком, – тоскует сердце папочки моего и милого господина и ах, как преувеличены его опасенья! Когда гость простился с нами, чтобы провести драгоценное свое изваянье, – он насмешливо улыбнулся, чтобы порадовать Иакова, и прибавил: – которое показалось мне довольно бедным, бессильным и жалким, ничем не лучше грубых гончарных изделий на рынке...

– Ты его видел? – перебил сына Иаков. Даже это было ему неприятно и омрачило его.

– Я попросил гостя показать его мне перед ужином, – сказал Иосиф, презрительно выпячивая губы и пожимая плечами. – Работа средней руки, и бессилье прямо-таки написано у этой фигурки на лбу... Когда вы закончили беседу, ты и гость, я вышел с братьями, но один из сыновей Линой служанки – кажется, это был честный и прямодушный Гад – предложил мне держаться от них подальше и причинил мне некоторую душевную боль, назвав меня не моим именем, а ненастоящими, дурными именами, на которые я не отзываюсь...

Нечаянно и вопреки своему намерению сбился он на наушничество, хотя знал за собой эту самому же ему неприятную склонность, искренне желал ее побороть и только что было успешно превозмог. При его неладах с братьями безудержность его общительности как раз и создавала порочный круг, отделяя его от братьев и сближая с отцом, эти нелады ставили Иосифа в промежуточное, подстрекавшее к ябедничеству положение, ябедничество, в свою очередь, обостряло разрыв, так что трудно было сказать, в чем корень зла – в неладах или в ябедничестве, но, как бы то ни было, старшие уже не могли глядеть на сына Рахили, не исказившись в лице. Первопричиной раздора было, несомненно, пристрастие Иакова к этому ребенку – такой объективной справкой мы не хотим обидеть этого человека чувства. Но чувство по природе своей склонно к необузданности и к избалованному самоублажению; оно не хочет таиться, оно не признает умолчания, оно старается показать себя, заявить о себе, «выставиться», как мы говорим, перед всем миром, чтобы занять собой всех и вся. Такова невозддержность людей чувства; а Иакова еще поощряло в ней господствовавшее в его преданьях и в его роду представление о невозддержности самого бога, о его величественной прихотливости во всем, что касается чувств и пристрастий: предпочтение, оказываемое Эль-эльюном отдельным избранникам совсем незаслуженно или не совсем по заслугам, было царственно, непонятно и по человеческому разумению несправедливо, оно было высшей волей, которую надлежало слепо, с восторгом и страхом, чтить, лежа во прахе; и сознавая, – сознавая, правда, в смирение

и страхе, – что и сам он является предметом такого пристрастия, Иаков в подражание богу всячески потрафлял своему пристрастью и давал ему полную волю.

Избалованная несдержанность человека чувства была наследством, доставшимся Иосифу от отца. Нам придется еще говорить о его неспособности обуздывать свои порывы, о недостатке у него такта, оказавшемся для него таким опасным. Это он, девяти лет, ребенком еще, пожаловался отцу на буйного, но доброго Рувима, когда тот, вспыхнув из-за того, что после смерти Рахили Иаков раскинул постель не у матери Рувима Лии, которая с красными своими глазами притаилась, отвергнутая, в шатре, а у ставшей тогда любимой женой служанки Валлы, сорвал отцовское ложе с нового места и с проклятьями его истоптал. Это было сделано сгоряча, ради Лии, из оскорбленной сыновней гордости, и раскаянье не заставило себя ждать. Можно было тихонько водворить постель на прежнее место, так что Иаков ни о чем не узнал бы. Но Иосиф, оказавшийся свидетелем провинности Рувима, поспешил сообщить о ней отцу, и с этого часа Иаков, который и сам обладал первородством не от природы, а лишь номинально и юридически, подумывал о том, чтобы проклясть Рувима и лишить его первородства, передав, однако, этот чин не следующему по старшинству, то есть не Симеону, второму сыну Лии, а по полному произволу чувства – первенцу Рахили, Иосифу.

Братья были несправедливы к мальчику, утверждая, что его болтливость имела целью такие решенья отца. Иосиф просто не умел молчать. Но что и в следующий раз, зная уже об отцовском намеренье и об упреке братьев, он снова не сумел промолчать, это было еще непростительнее и подкрепило подозрение старших сильнейшим образом. Немногим известно, как Иаков узнал о том, что Рувим «пошутил» с Валлой.

То была история, гораздо худшая, чем история с постелью, и случилась она еще до того, как они осели возле Хеврона, на одной из стоянок между Хевроном и Вефилем. Рувим, которому был тогда двадцать один год, не сумел под напором переполнявших его сил воздержаться от жены своего отца – той самой Валлы, на которую он так разозлился из-за отставки Лии. Он подглядел, как она купалась, – сначала случайно, потом – ради удовольствия унижить ее без ее ведома, затем – с возрастающим вождельем. Грубое, порывистое желание овладело этим сильным юношей при виде зрелых, но искусно ухоженных прелестей Валлы, ее упругих еще грудей, ее изящного живота, и похоти его не могла утолить ни одна служанка, ни одна послушная любому его знаку рабыня. Он прокрался к побочной и тогда любимой жене отца, бросился на нее, и если не овладел ею силой, то соблазнил ее, как ни трепетала она перед Иаковым, полнотой своей силы и молодостью.

Из этой сцены страсти, страха и преступления маленький Иосиф, праздно, хотя и без всякого намеренья шпионить, повсюду слонявшийся, подслушал достаточно много, чтобы с простодушным воодушевлением, как странную и любопытную новость, сообщить отцу, что Рувим «шутил» и «смеялся» с Валлой. Он употребил эти слова, в прямом своем смысле не выражавшие всего, что он понял, но своим вторым, обиходным значением выразившие все. Иаков побледнел и стал тяжело дышать. Спустя несколько минут Валла лежала в ногах у главы рода и со стонами признавалась в содеянном, раздирая ногтями груди, которые смутили Рувима и были теперь навсегда осквернены и неприкосновенны для ее повелителя. А затем в ногах у него лежал сам преступник, опоясанный в знак полного своего провала и позора одной дерюгой, и с искреннейшим сокрушением, подняв руки и уткнув в землю посыпанную пылью голову, внимал величавой грозе отцовского гнева, над ним бушевавшей. Иаков назвал его Хамом, осквернителем отца своего, змеем хаоса, бегемотом и бесстыжим гиппопотамом: в последнем эпитете сказалось влияние египетского поверья, будто у гиппопотамов существует мерзкий обычай убивать своих отцов и насильственно совокупляться со своими матерями. Изображая дело так, будто Валла действительно приходится матерью Рувиму, только потому, что он, отец его, сам с нею спал, громыхавший Иаков проникся древним и смутным представлением, что, совокупляясь с собственной матерью, Рувим хотел стать господином над всеми и всем, – и назначил

ему как раз противоположное. С простертыми руками отнял он у стонавшего Рувима его первородство – только, правда, отнял это почетное звание, но покамест не передал его дальше, так что с тех пор в этом вопросе царила неопределенность, при которой величественно-откровенное пристрастие отца к Иосифу заменяло до поры до времени всякие юридические факты.

Любопытно, что Рувим не только не затаил злобного чувства к мальчику, но относился к нему терпимей, чем все братья. Он совершенно справедливо не считал его поступка просто злым, внутренне признавая за братом право заботиться о чести отца, тем более что тот так любит его, и оповещать Иакова о делах, постыдность которых он, Рувим, вовсе не собирался оспаривать. Сознывая свою неправоту, Рувим был добродушен и справедлив. Кроме того, будучи при своей большой физической силе, как все Лиины сыновья, довольно дурен собой (слабые глаза он тоже унаследовал от матери и часто, хотя и без пользы, мазал мазью гноившиеся веки), Рувим ценил общепризнанную миловидность Иосифа больше, чем другие, он находил в ней по контрасту с собственной неуклюжестью что-то трогательное и чувствовал, что переходящее наследство глав рода и великих отцов, избранность, благословенье божье досталось скорее этому мальчику, чем ему или кому-либо другому из двенадцати братьев. Поэтому отцовские желания и замыслы, связанные с вопросом о первородстве, были понятны Рувиму, хотя и наносили тяжелый удар ему самому.

Таким образом, у Иосифа были основания пригрозить сыну Зелфы, тоже, впрочем, благодаря своему прямодушию не самому худшему из братьев, справедливостью Рувима. Рувим не раз уже, хотя и пренебрежительно, заступался за Иосифа перед братьями, неоднократно защищал его от обиды силой своих рук и бранил их, когда они, возмущенные очередным его предательством, собирались жестоко с ним рассчитаться. Ибо из ранних неприятностей с Рувимом этот дуралей не извлек никакого урока, великодушные брата тоже не сделало его лучше, и когда Иосиф подрос, он стал еще более опасным соглядатаем и доносчиком, чем в детстве. Опасным и для себя самого, и главным образом для себя самого; усвоенная им роль с каждым днем обостряла его отлученность и обособленность, мешала его счастью, взваливала на него бремя ненависти, нести которое было противно его природе, и давала ему повод бояться братьев, а это оборачивалось новым искушением обезопасить себя от них, подольстившись к отцу, – и все это продолжалось, несмотря на то что Иосиф не раз давал себе слово придержать язык, чтобы этим простым способом оздоровить свои отношения с десятью братьями, ни один из которых не был злодеем и которые, составляя вместе с ним и его маленьким братом число зодиакальных созвездий, были, в сущности, как он чувствовал, связаны с ним священной связью.

Напрасные обещания! Стоило Симеону и Левию, людям горячим, затеять невыгодную для семьи драку с чужими пастухами, а бывало, и с горожанами; стоило Иегуде, которого мучила Иштар, гордому, но несчастному человеку, не находившему в том, что было для других смехом, решительно ничего смешного, запутаться в неугодных Иакову тайных приключениях с дочерьми страны; стоило кому-либо из братьев провиниться перед Единственным и Всевышним, тайком покадив изваянью, что ставило под угрозу плодovitость скота и навлекало на него болезни – оспу, паршу или веретенницу; стоило сыновьям, здесь или под Шекемом, попытаться при продаже выбракованного скота выторговать и тайком от Иакова разделить между собой какой-то дополнительный барыш – отец узнавал это от своего любимчика. Он узнавал от него даже неправду, совершеннейший вздор, но склонен был верить прекрасным глазам Иосифа. Тот утверждал, что некоторые братья вырезали у живых овец и баранов куски мяса и тут же съедали их; так, по его словам, поступали все четыре сына наложниц, но чаще других – Асир, который и в самом деле отличался прожорливостью. Аппетит Асира был единственным доводом в пользу этого обвинения; которое и само по себе казалось весьма неправдоподобным и никак не могло быть доказано. Объективно это была клевета. С точки зрения Иосифа, поступок его не вполне, может быть, заслуживал такого названия. Вероятно, эта история ему приснилась; вернее, он заставил ее присниться себе в момент резонного ожидания порки, чтобы с помощью

этой небылицы заручиться отцовской защитой, а потом уже не мог и не хотел отличить правду от наваждения. Но понятно, что в этом случае возмущение братьев было особенно бурным. Оно обладало привилегией невиновности, на которую напирало с несколько чрезмерным ожесточением, словно в ней можно было все-таки сомневаться и в виденьях Иосифа содержалась какая-то доля правды. Больше всего нас уязвляют обвинения, которые хоть и вздорны, но не совсем...

ИМЯ

Иаков вспыхнул было, услышав о дурных именах, которыми Гад назвал Иосифа, ибо старик готов был сразу же усмотреть в них преступное оскорбление священного своего чувства. Но быстро повеселевший Иосиф сумел так мило и ловко отвлечь и успокоить отца, заговорив о другом, что гнев Иакова, не успев разгореться, остыл, и он мог уже только глядеть, мечтательно улыбаясь, в черные, чуть раскосые, лукаво сузившиеся глаза говорившего.

– Это пустяки, – слышал он резкий и хрупкий голос, который любил, потому что многое в нем напоминало голос Рахили. – Я по-братски побранил его за грубость, и, поскольку он принял к сведению мои увещания, это его заслуга, что мы разошлись полюбовно. Я ходил на холм поглядеть на город и на двойной дом Ефрона; здесь я омылся водой и молитвой, а что касается льва, которым папочка изволил мне пригрозить, распутника преисподней, исчадия черной луны, то он остался в зарослях Иардена (название реки Иосиф произнес не так, как мы, с другими гласными; он сказал: «Иарден», – с небным, но не раскатистым «р» и с довольно открытым «е») и нашел свой ужин в лощинах под обрывом, а дитя не видело его ни вблизи, ни вдали.

Он назвал самого себя «дитя», зная, что особенно растрогает отца этим прозвищем, сохранившимся от более ранней поры. Он продолжал:

– Но даже если бы он и пришел, колотя хвостом, и даже если бы голос его гремел от голода, как голоса серафимов, когда они поют свою хвалебную песнь, мальчик ни чуточки не испугался бы его ярости или только чуть-чуть. Ведь он, конечно, опять набросился бы на ягненка, разбойник, если бы Альдмоад не прогнал его трещотками и огнями, а детеныша человеческого зверь мудро обошел бы стороной. Разве мой папочка не знает, что звери боятся и избегают человека, потому что бог наделил его духом разума и указал ему разряды, на которые все делится, разве не знает он, как возопил Семаил, когда человек, созданный из праха земного, назвал всякое творенье, словно сам был повелителем его и творцом, и как изумились, как опустили глаза все слуги огненные, которые только и знают, что хором кричат на разные голоса «свят, свят!», а ничего не смыслят в разрядах и подразрядах? Звери тоже стыдятся нас и поджигают перед нами хвост, потому что мы знаем их и, владея их именем, лишаем силы рычащую их единичность. Посмей он явиться сюда со злобно раздутыми ноздрями, я бы все равно не потерял голову от ужаса и не оробел бы перед его загадкой. «Имя твое, наверно, Жажда Крови? – спросил бы я, чтобы над ним подшутить. – Или, может быть, тебя зовут Смертельный Прыжок?» Но потом я приосанился бы и воскликнул: «Лев! Ты – лев, вот кто ты по своему разряду и подразряду, и тайна твоя мне открыта, и видишь, мне ничего не стоит ее назвать». И он заморгал бы глазами от страха перед именем, он сник бы перед словом и убрался бы прочь, не в силах ответить мне. Ведь он же полный невежда и понятия не имеет о письменных принадлежностях...

Иосиф начал играть словами, в чем всегда находил удовольствие, но сейчас он хотел этим, точно так же как и предшествовавшей похвалой, рассеять отца. Имя его своим звучанием напоминало слово «сефер», книга, письменная принадлежность, – к неизменному его удовлетворению, ибо, в отличие от всех своих братьев, ни один из которых писать не умел, Иосиф любил это занятие и был в нем настолько искусен, что вполне мог бы служить писцом

в таких местах скопления документов, как Кириаф-Сефер или Гевал, если бы можно было представить себе, что Иаков одобрит подобную деятельность.

– Пусть папочка, – продолжал он, – приблизится, пусть он непринужденно и удобно сядет рядом с сыном у бездны, вот здесь, например, на краю, а грамотное это дитя село бы несколько ниже, у его ног, что дало бы довольно приятный порядок их размещения. Затем дитя развлекло бы своего господина, рассказав ему одну небольшую сказку-басню об имени, которую оно выучило и может занимательно изложить. Во времена поколений потопа ангел Семазай увидел на земле одну девицу, которую звали Ишхара, и, обезумев от ее красоты, сказал ей: «Послушайся меня!» А она сказала в ответ: «Не смей и надеяться, что я тебя послушаюсь, если ты не откроешь мне прежде то настоящее и неизменное имя бога, силой которого ты возносишься, когда произносишь его». Обезумевший гонец Семазай и вправду открыл ей это имя, до того ему не терпелось, чтобы она послушалась его. Но как думает папочка, что сделала Ишхара, как только завладела именем, и каким образом непорочная эта девушка оставила в дураках назойливого гонца? Это самое интересное место в моей истории, но, увы, я вижу, что папочка не слушает, что уши его закрыты мыслями и он погрузился в раздумья?

Действительно, Иаков не слушал, он «задумался». Это была на редкость выразительная задумчивость, воплощение задумчивости, задумчивость, так сказать, образцовая, высшая степень патетически-сосредоточенной отрешенности, – тут уж он ничего не слышал; если уж он задумался, то это должна была быть настоящая, видная и за сто шагов, великолепная, могучая задумчивость, чтобы каждому было ясно, что Иаков погрузился в раздумье, больше того, чтобы каждый только сейчас вообще узнал, что такое подлинная задумчивость, и благоговел перед этим состоянием и этой картиной: старик, обеими руками опершийся на высокий посох, склоненная к плечу голова, полные сокровенно-мечтательной грусти губы в серебряной бороде, карие, старческие, упорно роющиеся в глубинах воспоминаний и мыслей глаза, их глухой, обращенный внутрь взгляд снизу вверх, почти теряющийся в нависших бровях... Людям чувства свойственна внешняя выразительность, ибо она вытекает из тщеславия чувства, которое откровенно и без стеснения о себе заявляет; выразительность – это порождение большой и нежной души, где слабость и смелость, бесстыдство и благородство, естественность и нарочитость сплавляются в актерство высшей марки, которое внушает людям благоговение, хотя и слегка веселит их. Иакову была очень свойственна внешняя выразительность – к радости Иосифа, любившего взволнованную эту приподнятость и ею гордившегося, но к испугу и страху всех других, кто сталкивался с ним в жизни, и особенно остальных его сыновей, которые при разговорах с отцом ничего так не боялись, как именно этой выразительности. Так было с Рувимом, когда ему пришлось держать ответ перед стариком по поводу истории с Валлой. И хотя страх и благоговение перед выпяченной выразительностью были тогда глубже и безотчетней, чем у нас, обыкновенный человек, которому грозили такие эффекты, и тогда проникался тем обывательским защитным чувством, которое мы выразили бы словами: «Бог ты мой, это не доведет до добра!»

Яркая выразительность душевных движений Иакова, и взволнованность его голоса, и высокопарность его речи, и торжественность его повадки вообще – была связана с той его чертой, которой объяснялось также столь свойственное его лицу живописное выражение задумчивости. Это была склонность связывать мысли, настолько подчинившая себе внутреннюю его жизнь, что стала прямо-таки ее формой, и его мышление почти совсем ушло в такие ассоциации. На каждом шагу душу его поражали, отвлекали и далеко увлекали соответствия и аналогии, сливавшие в одно мгновение прошлое и обещанное и придававшие взгляду его как раз ту расплывчатость и туманность, которая появляется в минуты раздумья. Это был род недуга, но недуг этот не был личным его уделом, он был, хотя и в разной степени, очень широко распространен, и можно сказать, что в мире Иакова духовное достоинство и «значение» – употребляя слово «значение» в самом прямом смысле – определялось богатством мифических ассоциаций

и силой, с какой они наполняли мгновение. В самом деле, как странно, как выпенне и многозначительно прозвучали слова старика, когда он намеком выразил свое опасение, что Иосиф упадет в водоем! А получилось так потому, что Иаков не мог подумать о глубине колодца, чтобы к этой мысли не примешалась, углубляя и освящая ее, идея преисподней и царства мертвых, – идея, которая играла важную роль, правда, не в религиозных его воззрениях, но, как древнейшее мифическое наследство народов, в глубинах его души и фантазии, – представление о дольной стране, где правил Усири, Растерзанный, о местопребывании Намтара, бога чумы, о царстве ужасов, родине всех злых духов и повальных болезней. Это был мир, куда погружались небесные светила после захода, чтобы в назначенный час снова подняться, но ни одному смертному, проделавшему путь в эту обитель, вернуться оттуда не удавалось. Это был край грязи и кала, но также золота и богатств; лоно, куда бросали зерно и откуда оно всходило питательным злаком, страна черной луны, зимы и обуглившегося лета, куда спустился и ежегодно спускался растерзанный вепрем вешний овчар Таммуз, после чего земля переставала родить и, оплаканная, скудела до той поры, покуда Иштар, его супруга и мать, не отправлялась на поиски его в ад, не ломала пыльных запоров его застенка и с великим смехом не выводила из ямы возлюбленного красавца, владыку новорасцветшей флоры.

Как было не трепетать голосу Иакова, как мог его вопрос не приобрести странного и многозначительного отголоска, если он, пусть не умом – чувством, видел в колодце вход в преисподнюю, если все эти и еще иные образы ожили в нем при слове «бездна»? Какой-нибудь глупец и невежда, человек ничтожной души, может быть, и произнес бы такое слово бездумно и невзначай, не имея в виду ничего, кроме самого близкого и конкретного. Повадке Иакова оно придало величавость и духовную торжественность, оно сделало ее чуть ли не устрашающе выразительной. Невозможно передать, как ужаснулся провинившийся Рувим, когда отец в свое время бросил ему в лицо недоброе имя Хама! Ибо не таков был Иаков, чтобы употребить это бранное прозвище только как слабый намек. Волей могучего его духа настоящее растворилось, и притом самым жутким образом, в прошлом, однажды случившееся вступило в полную силу, и сам он, Иаков, слился с Ноем, униженным, поруганным, обесчещенным сыновней рукой отцом; и Рувим заранее знал, что так случится, что он и вправду будет Хамом, валяющимся в ногах у Ноя, и именно поэтому его так ужаснула предстоявшая сцена.

Ну а сейчас причиной столь очевидной задумчивости старика были воспоминанья, к которым побудила его болтовня сына об «имени», – томительные, как сон, возвышенные и страшные воспоминания тех давних дней, когда он, в великом страхе телесном, готовясь к встрече с обманутым и, несомненно, жаждавшим мести дикарем-братом, так страстно желал обрести духовную силу и боролся за имя с тем, особенным человеком, что напал на него. Томительный, ужасный, исполненный сладострастья сон отчаянной прелести, но не из тех веселых и мимолетных снов, от которых ничего не остается, а до того осязаемый, до того явственный, что от него осталось два следа на всю жизнь, как остаются на суше дары моря в часы отлива: увечье вертлюжного сустава бедра, на которое Иаков и хромал с той поры, как некто вывихнул его в схватке, и, во-вторых, имя – но не имя этого странного человека: оно не было открыто даже на заре, даже под угрозой мучительнейшей задержки, как ни донимал незнакомца, как ни наседали на него запыхавшийся Иаков, а его, Иакова, собственное, другое, второе имя, прозвище, которое дал ему в бою незнакомец, чтобы Иаков отпустил его до восхода солнца и уберег от мучительного опоздания, почетный титул, которым с тех пор величали Иакова, когда хотели ему польстить или вызвать у него улыбку, – Израиль, то есть «Бог ведет войну»... Он снова видел перед собой иавокский брод, тот заросший кустами берег, где он, Иаков, пребывал в одиночестве, после того как уже перевел через поток женщин, одиннадцать сыновей и скот, предназначенный в искупительный дар Исаву; видел тревожное, в тучах, небо той ночи, когда он, между двумя попытками задремать, полный тревоги, как это небо, бродил по берегу, еще дрожа от объяснения с одуроченным отцом Рахили, которое, впрочем, сошло, с помощью

бога, благополучно, и уже терзаясь мыслью о приближении еще одного обманутого и обиженного. Как он молил элохимов помочь ему, как он прямо-таки вменял им это в обязанность! И незнакомца, с которым он, бог весть почему, неожиданно-негаданно вступил в борьбу не на жизнь, а на смерть, он тоже увидел сейчас вплотную перед собой в ярком свете выплывшей вдруг из-за туч тогдашней луны: его широко расставленные, немигающие воловьи глаза, его лицо, подобное, как и плечи, лощеному камню; и в сердце Иакова снова вошло что-то от той жестокой радости, которую он тогда ощущал, выпытывая у него имя кряхтящим шепотом... Как был он силен! Отчаянно, как то может только присниться, силен и вынослив, такие неожиданные запасы силы открылись в его душе. Он держался всю ночь, до зари, пока не увидел, что незнакомец запаздывает, пока тот смущенно не попросил его: «Отпусти меня!» Ни один из них не одолел другого, но разве это не значило, что верх одержал Иаков, который ведь не был каким-то особенным человеком, а был человеком здешним, рожденным от семени человеческого? Иакову казалось, что волоокий усомнился в этом. Жестокий удар в бедро походил на испытание. Наноса его, боровшийся, может быть, хотел установить, действительно ли перед ним подвижный сустав, а не неподвижное сочленение, как у тех, кто подобен ему и никогда не садится... А потом незнакомец умудрился не открыть своего имени, но зато нарек имя Иакову. Так же отчетливо, как тогда, старик мысленно слышал сейчас высокий металлический голос, который сказал ему: «Отныне имя тебе будет Израиль», – после чего он, Иаков, выпустил из рук своих обладателя этого особенного голоса, так что тот, надо надеяться, все-таки поспел с грехом пополам...

О ДУРАЦКОЙ ЗЕМЛЕ ЕГИПЕТСКОЙ

Закончил свои размышления и очнулся от отрешенности величавый этот старик не менее выразительно, чем им предался. Глубоко вздохнув, со степенным достоинством, он выпрямился, стряхнул с себя задумчивость и, подняв голову, огляделся по сторонам, словно проснулся и теперь явно собирался с мыслями, возвращаясь к действительности. Приглашение Иосифа присесть рядом с ним было, казалось, пропущено мимо ушей. Да и не время было сейчас рассказывать забавные сказки, как пришлось, к стыду своему, признать Иосифу. Старику нужно было еще серьезно поговорить с ним. Лев был не единственной заботой Иакова. Иосиф дал повод и для других опасений, и ему ничего не было спущено. Он услышал:

– Далеко внизу есть страна, страна служанки Агари, она зовется еще страной Хама или черной, дурацкая земля Египетская. Люди ее черны душой, хотя и красноваты лицом, и выходят старыми из материнского чрева, а поэтому младенцы их похожи на маленьких стариков и уже через час начинают болтать о смерти. Они, как я слышал, проносят по улицам под бой барабанов и звуки струн мужеский член своего бога длиною в три локтя и блудят в могилах с нарумяненными мертвецами. Все, как один, они надменны, печальны и похотливы. Одеваются же они согласно проклятию, что пало на Хама, которому велено было ходить нагим, оголив срам, ибо тонкий, как паутина, холст лишь прикрывает их наготу, но не прячет ее, и этим они еще похваляются, утверждая, что носят сотканный воздух. Ибо не стыдятся они плоти своей, и нет у них ни слова «грех», ни такого понятия. Животы своих мертвецов они начинают пряностями, а вместо сердца по праву кладут изваяние навозного жука. Они богаты и бесстыдны, как люди Содомы и Аморы. Им ничего не стоит раскинуть постель у постели соседа или обменяться женами. Если женщина, проходя по рынку, увидит юношу, который вызовет у нее желание, она ложится с ним. Они и сами как животные, и поклоняются животным в глубине своих древних храмов, и я слышал, что одна девственница отдалась там на глазах у всего народа козлу по имени Биндиди. Одобряет ли сын мой эти обычаи?

Понимая, каким его проступком вызваны такие речи, Иосиф опустил голову и оттопырил нижнюю губу, как маленький мальчик, которого бранят. За покаянно-обиженным выражением

лица он скрывал, однако, усмешку; он знал, что нравы Мицраима Иаков изобразил слишком обобщенно, односторонне и сгустив краски. После нескольких мгновений сокрушенного молчания он, прежде чем ответить, просительно поднял глаза, стараясь найти в отцовских глазах первый проблеск примирительной улыбки, и даже попытался вызвать ее осторожным сближением, то смело выставляя напоказ, то вновь пряча собственную веселость. Глаза Иосифа уже походатайствовали за него, когда он сказал:

– Если там внизу, дорогой господин мой, такие порядки, то, конечно, одобрить их несовершенное это дитя остережется в душе своей. Тем не менее мне кажется, что тонкость египетского полотна и то, что оно как воздух, свидетельствует об искусности этих дряхлых навозных жуков в ремесле и могло бы, с другой стороны, при известных условиях, говорить и в их пользу. И если они не стыдятся плоти своей, то человек, склонный к чрезмерной снисходительности, мог бы, наверно, заметить в их оправданье, что они по большей части довольно худы и поджары, а у жирной плоти больше причин для стыда, чем у тощей, потому что...

Теперь сохранять серьезность должен был Иаков. Он отвечал голосом, в котором осуждающее нетерпение и нежность взволнованно боролись друг с другом:

– Ты говоришь, как дитя! Ты умеешь складно изъясняться, и речь твоя завлекательна, как речь торговца, хитро набивающего цену верблюду, но смысл ее – это чистейшее ребячество. Не хочу думать, что ты решил посмеяться над моим страхом, а я трепещу от страха, что ты вызовешь недовольство господина и навлечешь его гнев на себя и на Авраамово семейство. Глаза мои видели, что ты сидел нагой при луне, как будто всевышний не вложил в наше сердце разумения греха, как будто на этих высотах ночи весны совсем не прохладны после дневного зноя и ты не можешь ночью простыть и замертво свалиться от лихорадки, прежде чем запоет петух. Поэтому я хочу, чтобы ты сейчас же надел поверх рубахи верхнее платье по благочестному обычаю детей Сима. Ведь оно шерстяное, а со стороны Гилеада дует ветер. И я хочу, чтобы ты не пугал меня, ибо глаза мои видели еще кое-что, и я боюсь, что они видели, как ты посылал звездам воздушные поцелуи...

– Нет, нет! – воскликнул Иосиф, не на шутку испугавшись. Он вскочил с края колодца, чтобы надеть свой коричнево-желтый, длиной до колен халат, поднятый и поданный ему отцом; но одновременно стремительный этот подъем был, казалось, его отпором подозрению старика, которое нужно было опровергнуть во что бы то ни стало – и всеми средствами. Будем внимательны, тут все было очень характерно! Ассоциативная многослойность мышления Иакова сказалась в том, как он в одном упреке соединил три: в гигиенической неосторожности, в недостатке стыдливости и в религиозном атавизме. Последний был самым глубоким и самым неприятным слоем этого комплекса тревог, и, наполовину просунув обе руки в рукава халата и от волнения не найдя его верхнего выреза, Иосиф своей борьбой с одеждой старался нагляднее показать, как важно ему отречься от действий, которые он тут же сумел самым лукавым образом оправдать.

– Вот уж нет! Вот уж чего не было, так не было! – уверял он отца, пытаясь продеть свою красивую и прекрасную голову в вырез халата; и чтобы придать своему протесту большую убедительность изысканностью словесной, Иосиф прибавил:

– Суждение папочки, право, огорчительно отклонилось от истины!

Взволнованно оправив халат движением плеч и одернув его обеими руками, он сбросил с головы растрепавшийся миртовый венок и стал не глядя завязывать тесемки, которыми стягивался халат под шейным вырезом.

– О воздушных поцелуях не может быть и... Неужели я сотворил бы такое зло? Пусть господин мой соизволит разобраться в моих оплошностях, и он убедится, что они ничтожны! Я глядел вверх, это верно. Я видел, как лучится, как великолепно плывет по небу светило ночи, и глаза мои, израненные огненными стрелами солнца, купались в отдохновенно-прохладном ночном сиянии. Ибо, как поется в песне и как передают люди из уст в уста:

Чтоб мерили время твои перемены,
Он брачным союзом связал тебя с ночью,
О Син, и заставил сиять и украсил
Венцом торжество твоего завершения.

Иосиф произнес это нараспев, стоя на одну ступеньку выше, чем старик, вытянув вперед, ладонями вверх, кисти рук и при каждом первом полустии наклоняя туловище в одну сторону, а при каждом втором – в другую.

– Шапатту, – сказал он. – Это день торжества завершения, день красоты. Он близок, он наступит завтра или на завтра после завтрашнего дня. И в субботу я даже украдкой, даже невзначай не стану посылать воздушных поцелуев мерилу времени, ведь сказано же, что сияет оно не само по себе, а заставил его сиять и дал ему венец Он...

– Кто? – спросил Иаков тихо. – Кто заставил его сиять?

– Мардук-Бел! – опрометчиво выпалил Иосиф, но тотчас же, отрицательно качая головой, протянул: «Э... э...» – и продолжил: – ...Как называют его в историях. Однако, – и папочка мой отлично знает это и без жалкого своего дитяти, – это владыка богов, более могучий, чем всякие ануннаки и местные баалы, бог Авраама, побивший змея и сотворивший тройной мир. Если он, разозлившись, отвернется, он уже не повернет шеи обратно, а если разгневается, ни один бог не воспротивится его ярости. Он великодушен и всеведущ, нечестивцы и грешники – это зловоние для его носа, но того, кто вышел из Ура, он возлюбил и поставил меж ним и собою завет, что будет богом ему и его семени. И благословение бога перешло к Иакову, моему господину, заслуженно носящему, как известно, прекрасное имя – званье Израиля, а он великий и рассудительный вестник и вот уж не станет учить своих детей посылать звездам воздушные поцелуи, которые причитались бы единственно господе, если ошибочно предположить, что посылать ему воздушные поцелуи прилично, но поскольку такое предположение нелепо, то можно сказать, что сравнительно все же приличней посылать их сияющим звездам. Но хотя это и можно сказать, я этого не скажу, и если я поднес пальцы ко рту для воздушного поцелуя кому бы то ни было, пусть не придется мне больше подносить их ко рту, чтобы есть, и пусть я умру голодной смертью. Но я и тогда откажусь есть и предпочту умереть голодной смертью, если папочка сейчас же не устроится поудобней и не сядет рядом с сыном на краю бездны. Тем более что господин мой все стоит и стоит на ногах, а ведь бедро у него поражено священной слабостью, и все прекрасно знают, сколь своеобразным способом он ее приобрел...

Он осмелился спуститься к Иакову и осторожно обнять его за плечи в уверенности, что обворожил и смягчил его своей болтовней; и старик, который, играя висевшей у него на груди каменной печаткой, все еще стоял и предавался раздумьям о боге, со вздохом уступил легкому этому нажиму, поставил ногу на круглую ступеньку и, опустившись на край колодца, обнял одной рукой посох, оправил одежду и теперь тоже повернул лицо к луне, которая ярко осветила нежную величавость старческих его черт и загля зеркальным блеском его озабоченно-умные каштановые глаза. У ног его сидел Иосиф – согласно картине, которую уже раньше облюбовал и предложил. И, чувствуя на волосах у себя руку Иакова, непроизвольно, по-видимому, опустившуюся, чтобы погладить их, он продолжал голосом более тихим:

– Вот теперь стало хорошо и приятно, я просидел бы так все три ночные стражи подряд, мне давно этого хотелось. Мой господин глядит вверх, в лицо луны, но и мне нисколько не хуже, потому что я с величайшим удовольствием гляжу в его собственное лицо, которое тоже кажется мне лицом бога и светится отраженным светом. Скажи, разве не показалось тебе ликом луны лицо моего косматого дяди Исава, когда он, по твоим словам, так неожиданно кротко и по-братски встретил тебя у брода? Но и это был только ответ кротости на космато-багровом лице, ответ твоего, дорогой господин мой, лица, которое на вид такое же, как лицо луны и

пастуха Авеля, чья жертва была угодна господу, но не Каина и не Исава, чьи лица – как поле, выжженное солнцем, как земля, потрескавшаяся от засухи. Да, ты Авель, ты луна и пастух, и мы, члены твоей семьи, – мы все пастухи-овчары, а не люди возделывающего поля Солнца, как местные землепашцы, что, обливаясь потом, ходят за сохой и за волами сохи и молятся местным баалам. Нет, мы глядим вверх на Владыку Дороги, на странника, который сейчас поднимается, сияя, в белом наряде... Скажи мне, – продолжал он скороговоркой, почти не переводя дыхания, – разве наш отец Авирам не ушел огорченный из Ура Халдейского, разве не покинул он в гневе родную свою лунную твердыню, потому что законодатель мощно вознес главу своему богу Мардуку – палящему Солнцу, и поставил его выше всех богов Синей горы к огорчению людей Сина? И скажи мне, разве его люди, что там живут, не называют его также Симом, когда хотят по-настоящему возвысить его, – как звали того сына Ноя, чьи дети черны, но миловидны, как была миловидна Рахиль, и живут в Эламе, Ассуре, Арфаксаде, Луде и Едоме? Погоди-ка, послушай-ка, о чем подумало дитя! Разве не звали Сахарь, что значит «луна», жену Авраама? А теперь, погляди, какой я сделаю расчет. Семь раз по пятидесяти дней и еще четыре дня составляют кругооборот. В каждом, однако, месяце есть три дня, когда люди не видят луны. Осмелюсь попросить моего господина отнять от тех трехсот пятидесяти четырех дней эти трижды двенадцать. Получится триста восемнадцать ночей видимой луны. Но как раз триста восемнадцать рабов, рожденных в доме его, было у Авраама, когда он побил царей Востока и прогнал их за Дамаск, освободив брата своего Лота из плена эламитянина Кудур-Лаомера. Как же любил Авирам, отец наш, луну и как же он был ей предан, если отобрал рабов для сраженья точно по числу дней видимой луны. И предположим, что я послал ей воздушный поцелуй, и даже не один, а целых триста восемнадцать, хотя на самом деле я их вовсе не посылал, – скажи, неужели это была бы такая уж большая беда?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.